

ЖАК ШЕССЕ

Людоед



im WERDEN VERLAG
DALLAS AUGSBURG 2003

Жак Шессе
Людоед
Перевод с французского

Jacques Chessex
L'Ogre

The book may not be copied in whole or in part.
Commercial use of the book is strictly prohibited.
The book should be removed from server immediately upon © request.

©Éditions Grasset & Fasquelle, 1973
©«Текст», 2000
©Ирина Волевич, перевод, 1998
©«Im Werden Verlag», 2003
<http://www.imwerden.de>
info@imwerden.de

OCR, SpellCheck & Design by Anatoly Eydelzon books@tumana.net
Generated by L^AT_EX 2_ε

Доколе же Ты не оставишь,
доколе не отойдешь от меня?..
Книга Иова, 7, 19

I
КРЕМАТОРИЙ

Отступи от меня,
ибо дни мои суета.
Книга Иова, 7, 16

Его мука началась к вечеру.

В какой-то миг он ощутил себя странно одиноким, сидя перед блюдами, заказанными в баре отеля «Англетер». За другими столиками шутили и смеялись, роскошные загорелые женщины флиртовали с красивыми мужчинами. Юноши и девушки держались за руки. А он, Жан Кальме, сидел, съезжившись, и с мрачным усердием гонял вилкой по тарелке три куска окуневого филе, выстраивая их то так, то эдак, снова зачем-то сбрызгивая лимоном и никак не решаясь отправить в рот. Вино в его бокале потихоньку согревалось. Вот уже час, как призрак не давал ему покоя. Жан Кальме не хотел смотреть на него, он испуганно отталкивал его от себя, пытаясь загнать поглубже, на самое дно памяти: он знал, как больно ему будет в тот миг, когда мрачное видение встанет перед ним во всей своей определенности. Но тщетно; зыбкий образ упрямо всплывал на поверхность, обретал ясные очертания, и Жан Кальме не мог не видеть его на фоне погребальной тени, которая делала его особенно четким. Внезапно одиночество стало невыносимо острым, и память ярко озарила *ту* картину.

Это была очень давняя сцена, но она тысячекратно повторялась во времена, когда он жил у родителей, в Лютри, на берегу озера, в доме, сотрясаемом криками, скандалами и ветром, что раскачивал верхушки елей и тополей. Все семейство сидело за ужином. Отец – огромный, величественный – высился во главе стола. Закатный свет багровыми отблесками лежал на его смуглом блестящем лбу и мощных руках; все его существо дышало физической силой и жизнелюбием, мускулистая жирная грудь с выступающими сосками и густой порослью седых волос шумно вздымалась под полотняной рубашкой. Вся комната вокруг него казалась погруженной в тень, но даже и сумрак, вздымавшийся с пола и из дальних углов просторной залы, не в силах был затмить эту царственную глыбу, вобравшую в себя весь жар заката, это второе солнце, неистребимое, ненавистное, которое багровело, и сияло, и воспламеняло все вокруг своею страшной властью,

Сидя на другом конце стола, Жан Кальме с отвращением вслушивался в шумное жевание отца. Это жирное чавканье звучало, как непристойное признание. Присутствующие почти не говорили, братья и сестры исподтишка переглядывались, мать ела торопливо, без конца вставая и бегая на кухню, бесшумно, как боязливая серая мышь. Служанка Марта, немецкая швейцарка, сидела с недовольным видом, уткнувшись в свою тарелку. Сам же доктор безостановочно жевал и глотал, не спуская, однако, зорких глаз с домашних; он непрерывно обводил взглядом весь стол, из конца в конец, и Жан Кальме с содроганием ждал очередной встречи с этими грозными пронизывающими глазами, которые читали в нем, как в открытой книге. Под их яростно-голубым огнем он трусливо бледнел, чувствуя себя абсолютно прозрачным, безоружным, неспособным скрыть никакую малость. Доктор знал о нем все, потому что он был хозяин, господин, мощный, массивный, непобедимый, и ничто не могло сокрушить стальную силу этого тела, багровеющего в лучах заката.

Стыд и отчаяние терзали сердце Жана Кальме. Отец знал все его скрытые постыдные желания. Знал тайник, где он прятал слипшиеся платки. Все угадывал с первого же взгляда. Жан Кальме не отрывал глаз от тарелки, но тщетно – инквизиторский взгляд все равно настигал его. Тоска душила мальчика; ему так хотелось кинуться старику на шею и всласть выплакаться на этой широкой, шумно дышащей груди! Ибо Жан Кальме любил отца. Он восхищался этой мощной звериной силой, завидовал (одновременно презирая) этому ненасытному аппетиту, обожал этот властный зычный голос – и смертельно боялся его. Именно страх унижения не позволял ему броситься к доктору, укрыться в отцовских объятиях. Он стыдился этого страха, как предательства.

Ужин давно кончился, но доктор все еще шумно пил свой кофе, и потому никто не осме-

лился встать из-за стола. Служанка ходила на цыпочках, убирая посуду. Наконец зажгли лампы, это был сигнал свободы; члены семьи, торопливо пожелав друг другу доброй ночи, убежали из столовой и прятались каждый в своей комнате, точно в потаенной норе. Жан Кальме все еще не мог оправиться от страха. Ему чудилось, что взгляд безжалостного судьи неусыпно преследует его, проникая даже сквозь стены спальни. До поздней ночи он искал спасения или утешения в своих книгах. Затем ложился в постель. И когда ему случалось уступать велению плоти, все поджилки у него тряслись при мысли о том, что отец вот-вот застигнет его за этим, хуже того – что он сейчас видит его, следит за ним.

Ему было пятнадцать лет. Время от времени он пускался на мелкие кражи с одной целью – лишь бы снять с себя хоть частицу гнета отцовского взгляда. Вооружиться против него какой ни на есть, но тайной. Он входил в книжную лавку и с умным видом рылся в книгах. Улучив момент, он совал в карман сборник стихов или журнал и выходил на улицу с чувством новой значимости, непроницаемости, защищавшей его от отца. Наконец-то у него было что-то свое, что-то неизвестное его бдительному надсмотрщику. Но ведь Жан Кальме любил своего отца. Отчего же он так и не сказал ему об этом? Внезапно одиночество стало невыносимо острым, и память ярко озарила *ту* картину.

Слезы застлали ему глаза. Он принялся есть остывшую рыбу, пытаясь одновременно подвести итоги своим раздумьям. «Мне тридцать восемь лет, – сказал он себе. – Я преподаю в гимназии. Я учу думать шестьдесят шалопаев, мальчишек и девчонок». Но воспоминание об учениках не развеселило его, напротив, он чувствовал себя слишком одиноким, слишком подавленным, чтобы служить им примером, научить чему-нибудь достойному. Вино тоже не принесло ему утешения. Он заплатил по счету и вернулся домой, как в тюрьму.

Он улегся в постель, но сон не шел к нему. Он никак не мог забыть утреннюю церемонию. Чувство освобождения, испытанное в крематории, сейчас терзало его, как тайное злодеяние. Он решил последовать совету, вычитанному в каком-то журнале, внушая себе: «Вы совершенно расслаблены, ваши руки и ноги тяжелеют, наливаются сном. . . » – как вдруг его пронзила мысль: я ведь изображаю мертвеца! И боль мгновенно вспыхнула с новой силой. Ему представилось кладбище Буа-де-Во с чистенькими аллеями и тысячами могил: в каждой из них лежит скелет или разлагающееся тело, еще хранящее остатки форм человека, которым оно некогда было. Кладбищенский «последний сон» таил в себе частицу доброй простой привычки, в которой смерть обнаруживала свою власть не так уж и страшно. В нем было нечто успокаивающее, знакомое, близкое сердцу Жана Кальме. Могила ведь так похожа на привычную кровать! Она сохраняет кости покойника. Его череп, зубы, суставы, спинной хребет при желании легко опознать, так же как пломбы, кольца, остатки одежды. Этот вид загробного, чисто физического существования внезапно показался Жану Кальме бесценным, как сама вечность. А он, как же он поступил со своим отцом? Зачем его братья и сестры приняли такое решение и заставили его с ним согласиться? По их мнению, тело, гниющее под тонким слоем земли, мерзость. Нужно подумать о маме. Образ доктора, разлагающегося в могиле, будет без конца преследовать ее. Да и с точки зрения гигиены!.. Тем более что осень выдалась необычайно теплая. В такую погоду мертвецы разлагаются еще быстрее. И Жан Кальме облегченно согласился. Итак, доктора обратят в пепел. Ему не оставят ни единого шанса сохранить в жирной кладбищенской земле свою ненавистную, скандальную силу. Разрушить ее, эту силу, истребить дотла эти мускулы, это тело, все, вплоть до глаз, которые, несмотря на многочасовые усилия родных, упрямо глядели на свет из-под толстых красных век. Изничтожить отца. Превратить его в крошечную кучку пепла, ссыпанную в урну. Точно песок. Точно серую, безгласную пыль. Слепую пыль небытия.

И теперь мысль об этой урне неотступно терзала Жана Кальме. Куда ее поставят? Он

сильно подозревал, что мать захочет держать ее подле себя. Служащий похоронного бюро велеречиво разъяснил ему и его братьям, что такое бывает: очень часто вдовы настаивают на том, чтобы прах супруга хранился у них в саду, или в гостиной, или даже у изголовья постели, лишь бы не расставаться с возлюбленным супругом. В тот момент Жан Кальме втайне усмехнулся, представив себе эту «загробную» верность. Но теперь, лежа в темноте без сна, в коконе влажных тяжелых простынь, он вспомнил эти слова, и ему почудилось, что наивная вдовья преданность, рожденная магической глубинной интуицией, каким-то чудом и впрямь наделяет погребальную урну с ее жалким содержимым устрашающим свойством Присутствия. И горстка праха, которую он считал столь ничтожной, обретает таким образом, в силу глупой веры выживших из ума старух, мрачную потустороннюю силу. Да нет, ерунда, что за детские страхи, пепел – он и есть пепел! И Жан Кальме с удовольствием припомнил нескольких скромных мудрецов, завещавших развеять их прах в лесу, по лугам или над рекой. Он представил себе, как этот мелкий серебристый дождик сыплется в реку и вместе с нею бежит мимо тенистых берегов, смешиваясь со струями, становясь водой еще до того, как исчезнуть в соленых океанских волнах или испариться в поднебесье. Жану Кальме ясно представилось, как душа усопшего возносится к облакам, в счастливом осознании конца своей земной жизни, и он позавидовал такой смерти и такой душе.

Он вертелся в постели с боку на бок, безуспешно стараясь успокоиться, твердя себе, что прах отца пока еще находится в крематории, в алюминиевой капсуле, запечатанной и пронумерованной служащим нынче утром. И когда ему наконец удалось заснуть, он увидел во сне, что цепляется за черную траву, силясь взобраться на крутой холм. Но едва он достигал середины склона, как в ночном небе над ним возникал огромный бык, и это чудовище бросалось на него и топтало копытами. Позже он часто вспоминал этот кошмар.

По случаю похорон ему предоставили в гимназии двухдневный отпуск, так что нынче Жан Кальме был еще свободен. Он принялся размышлять о вечернем сборище. Оно было назначено на восемь часов вечера в Лютри; там предстоял ужин, с призраком доктора во главе стола. Члены семьи будут изучать каталог похоронного бюро, где на левых страницах, в изящных черных рамочках, помещены красивые фотографии типовых погребальных урн, а на правой стороне – их размеры, достоинства и цены, кое-где исправленные шариковой ручкой. Жан Кальме удивился собственному глубокому интересу к этим атрибутам похоронного обряда. Неделей раньше он знать не знал о публикации траурных объявлений, о каталогах гробов, изготовителях памятников и урн. Он понятия не имел о географии кладбища, хотя проезжал на машине мимо его нескончаемо длинной стены всякий раз, как возвращался с озера. А вчера утром перед ним будто внезапно распахнулись двери в новую страну, обширную и неизведанную страну со сложной иерархией своих печальных ценностей. К полудню он, как бы ненароком, прошелся пешком до кладбища и с изумлением обнаружил в его окрестностях великое множество похоронных бюро и погребальных дел мастеров – скульпторов, граверов, мраморщиков, мозаистов. Прежде он даже не подозревал об их существовании.

В то утро Жан Кальме, захваченный новизною всего этого мрачного разнообразия, позабыл даже истинную цель своего визита. Но скоро он вспомнил об отце и помрачнел. Он зашел в кафе, где накануне, ровно в тот же час, после крематория, их семья сидела за поминальной трапезой. Кафе носило красивое название – «Покой». Официанты не узнали его, но в глубине зала, в чем-то вроде отдельного кабинета, занятого накануне родными доктора, сидела теперь другая семья – перед такими же бутылками, такими же чашками чая, такими же пирожными, и зрелище это на минуту утешило Жана Кальме. Значит, ничего страшного не происходит, если в этом кафе постоянно разыгрываются одни и те же сцены, если ни хозяина, ни его персонал не удивляет вид семей в черном, похожих друг на друга и собирающихся в этом зале три-четыре раза в день, дабы отметить уход кого-то из близких.

Жан Кальме почти нечеловеческим усилием воли овладел собой. И тотчас его тело с удовольствием ощутило приятную прохладу сумрачного зала, а дух воспрянул от сознания одиночества. Слава Богу, отныне доктор являет собой всего лишь щепотку пепла на дне опечатанной коробки. Номер капсулы Жан Кальме старательно записал в свой блокнот. Блокнот этот лежал у него во внутреннем кармане пиджака. Он нащупал его сквозь вельветовую ткань, ощутив попутно биение сердца. Теперь сердце билось ровно. Все было хорошо.

На улице было невыносимо жарко; солнце палило нещадно. Жан Кальме раздраженно подумал о вечернем семейном совете. Опять речь пойдет о докторе. И призрак с широким багровым лицом будет ухмыляться во весь рот, сидя во главе стола. А пятеро детей благоговейно понизят голос, обсуждая подробности смерти и наследства. Мать молча пройдет по комнате, исчезнет за дверью, вернется на цыпочках, с кофейником в руке, и в наступившей тишине нальет каждому кофе. Подробности смерти. . . Внезапно Жан Кальме осознал, что ничего не знает о смерти своего отца. Ему позвонили в гимназию и передали печальную новость через коллег; услышав ее, он испытал в первую минуту лишь чувство облегчения, словно выздоровел от тяжелой болезни; ощущение это помешало ему вообразить последние минуты жизни отца и притупило интерес к ним позже, в беседе с врачом, который был свидетелем кончины. Ему ничего не стоило подробно и тактично расспросить этого человека. Но он старался держаться от него подальше. Один только раз он оказался рядом с ним, это было во время трапезы в кафе, однако бессвязный разговор не затрагивал ничего, кроме самых банальных моментов похорон. «Это было ужасно!» – твердила мать; вот и все, что он услышал от нее по поводу смерти Людоеда, о последних драматических минутах его жизни; эти банальные

слова не содержали ничего определенного. «Слава Богу, все сошло благополучно, – думал Жан Кальме. – Да и с чего бы мне переживать, даже зная, как он умирал?! Настал его черед, вот и все. Значит, существует справедливость». И он утверждался в этой мысли, радуясь тому, как ровно бьется пульс на его запястье, как ровно, двенадцать раз в минуту, вздымается грудь, набирая в легкие воздух и выбрасывая наружу. «А что, если снова сыграть в удушье, как бывало в детстве? – думал Жан Кальме. – Задержать дыхание и ждать, когда все вокруг почернеет, перед глазами запляшут темные круги, грудная клетка раздуется, вот-вот лопнет, а в голове всю загудят колокола. . . » Он мысленно увидел Лютри, квадратную лужайку в глубине сада. Ему было тогда семь лет, он лежал на земле, и жесткие стебельки, забравшиеся под тонкую рубашку, щекотали ему спину. И вдруг ему пришло в голову умереть, по примеру героев и рыцарей из учебника истории. Он вспомнил о Жанне д'Арк, задыхавшейся в дыму костра, о смертельно раненном Роланде, что трубил в рог среди скал, хотя его легкие исходили кровью, хлеставшей из горла. Мальчик раскидывал руки, словно мученик на кресте, вдыхал побольше воздуха, стискивал губы, и тогда начиналась пытка: коричневые круги и разноцветные вспышки перед глазами, колокольный звон в ушах. . . «Я страдаю, – восторженно твердил себе Жан Кальме, и какой-то темный огонь воспламенял его кровь; этого ощущения он не забудет никогда. – Я избран, чтобы страдать! Я должен победить страх и возлюбить мою муку!» У него кружилась голова, он растворялся в ликующем опьянении посвященного, жертвы. Но тут же его настигала паника; мальчик шумно выдыхал и вновь видел над собой голубую высь неба, где стремительно и гибко, точно форель в реке, ходили дикие голуби и чайки.

В последнее время одна из учениц Жана Кальме начала худеть и бледнеть. Под глазами у нее пролегли темные круги, под мышками и на шее вспухли железы.

В сентябре ей сделали первую операцию, и в последующие недели явилась надежда на выздоровление. Однако вскоре лимфатические опухоли возникли вновь, и место во втором классе, принадлежавшее девушке, пустовало все чаще и чаще.

– Изабель скоро умрет, – сказала Жану Кальме Эжени. – Она это знает. Мы с Аленом сделали у нее дома много фотографий. Хотите посмотреть?

Это было в конце урока, поутру, в залитом солнцем классе. Эжени вытащила пачку фотографий из своей вязаной оранжевой сумочки.

Изабель.

Лихорадочно блестящие черные глаза, жгучий взгляд из глубоких орбит.

Прозрачное личико. Мертвенная бледность. Темные волосы, челка на лбу и – пугающе живой на этом истощенном лице мученицы – большой рот с пухлой нижней губкой, словно жаждущий последний раз вкусить земных яств перед уходом в небытие. Изабель-которая-скоро-умрет. Которая это знает. Которая зачаровывает этим своих товарищей.

Жан Кальме пристально разглядывал изможденное лицо, худенькую шейку с таинственной впадиной, уходившей под ворот клетчатой рубашки. Изабель, ее комната, ее лицо – совсем близко; взгляд Жана Кальме не мог оторваться от широко раскрытых глаз девушки, светящихся в темных пещерках орбит. А вот Изабель с обнаженными плечами прислонилась к афише с Джоан Баэз; в спальне полумрак, прикрытые решетчатые ставни почти не допускают внутрь дневное солнце. Да и лицо ее здесь тоже замкнуто, взгляд обращен к потолку, нос заострился, щеки впали еще сильнее, и только нижняя губка, все такая же пухлая, словно готовится принять поцелуй невидимого томного возлюбленного. Изабель, с пугающе белыми зубами, перед запертой на засов дверью. Изабель, вертикально разрезанная объективом: на Жана Кальме смотрит всего один черный блестящий глаз. Изабель-которая-скоро-умрет. Которая это знает. Которая, сама того не подозревая, завоевывает робкое сердце Жана Кальме.

Изабель приходила в гимназию на час-два в неделю – сидела, как гостья, у окна, кутаясь в шаль; ее бледное личико светилось нездешним светом. Затем она снова исчезала на несколько недель. Жан Кальме знал от учеников, что она сильно худеет, что у нее снова распухли железы под ключицами. Каждый день после занятий маленькая группа друзей Изабель отправлялась в Совабелен, в ее тесную комнатку, чтобы, несмотря на владевший ими страх, развлечь больную последними новостями. Изабель отказывалась лежать в постели. Она лихорадочно рисовала, писала стихи, как будто усталость навсегда покинула ее. Родители не мешали молодым людям; отец, преподаватель другой гимназии, молча загадочно улыбался, встречая их в коридоре, мать приносила кока-колу, булочки и исчезала в глубине квартиры.

Теперь Изабель весила всего тридцать пять килограммов. Как-то раз она вновь появилась в классе.

– Не хочу умереть девственницей, – сказала она друзьям.

Она выбрала Марка и отдалась ему на берегу озера, осенней ночью; они укрылись в камышах, постелью им служил спальный мешок Марка. Где-то рядом, в окутанной туманом воде, до самого рассвета перекликались лебеди, выпи и утки. Потом берега залил розовый свет зари. Марк красив. У него орлиный нос, густая прядь ниспадает на лоб до самых глаз. Он носит длинные шарфы, толстые свитера. Он гравировал на меди портреты Изабель и дарит оттиски своим товарищам, он рисует ее нагую на фоне лесных зарослей, он изготавливает сиренево-белые гобелены. Изабель выбрала Марка. Она занималась с ним любовью три или четыре раза.

Жуткая гирлянда вспухших желез – украшение смерти – окружала ее хрупкую шейку. Медики вынесли приговор: «Неоперабельна». Больше она в класс не приходила.

Когда Изабель стала весить тридцать пять килограммов – а было это за две недели до смерти, – она организовала прогулку в Креси, горную деревушку в Бруа. Почему именно в Креси? Там у ее бабушки была ферма. Завещанная ей.

Проводимые на ферме детские каникулы. Сбор урожая. Водоем с ледяной водой на расвете, после первой ночной прогулки с женатым драгуном, как раз перед причастием, в пятнадцать с половиной лет; он со смехом обрызгивает тебя, потом внезапно опрокидывает на бортик водоема, зачерпывает горстью холодную воду и, звонко припечатав ее на твоей груди, свирепо впивается в губы; от него несет вином и сигарами, длинный грубый язык перебивает тебе дыхание и жадно собирает слюну по нёбу, за зубами, до самого горла. Тебе пятнадцать с половиной лет. В трусиках жестко курчавятся первые волоски. Ты еще не свыклась с регулами, хотя они начались три года назад. А впереди вся жизнь – можно ли было вообразить, что ты умрешь в семнадцать лет, в расцвете юности, исхудав до тридцати трех кило; бедная, истерзанная жертва Божьего Освенцима?!

Итак, Изабель возглавила эту маленькую экспедицию. Они взяли с собой фотоаппараты. Здесь были Марк, Жак, Эжени, Анна, Ален и турок Сюрэн. Они добрались автобусом до Мюдона, а оттуда пешком до Креси, откуда пошли прямо на кладбище, не заходя ни в кафе, ни в церковь, хотя Анна, имевшая склонность к театральным эффектам, уговаривала Изабель и Марка обвенчаться перед алтарем. Кладбище находилось в полукилометре от Креси, на пологом склоне холма, над широкой долиной. Стояла весна, повсюду уже пробивалась свежая зеленая травка, на ветвях поблескивали почки, теплый ветерок растапливал последние снежные заплатки у лесной опушки.

Изабель знала, что ей осталось жить две недели.

В самом конце дальней аллеи, на крайнем участке, за которым уже начинаются поля, зияет готовая могила; куча земли рядом ждет, когда ее сбросят на гроб, опущенный в рыхлую холодную глубину.

Кладбище залито солнцем.

Изабель подходит к своей могиле, с минуту стоит на краю ямы, нагибается и берет горсть земли, которая укроет ее через две недели.

Юноши и девушки сидят тут же, в нескольких шагах, на двух скамьях – ее друзья, ее братья и сестры, ее ангелы-хранители; с виду они спокойны, но их души раздирают любовь и ужас. Юная покойница ложится на залитое солнцем соседнее надгробие; легкий ветерок шуршит в ветвях кипариса, на изгороди щебечет, зовет кого-то синица, из долины поднимается горьковатый запах костров, там фермеры сжигают сухую лозу.

Изабель лежит на плите рядом со своей могилой; ее грудь тихо вздымается. Сперва она скрестила руки, потом раскинула их; ее пальцы перебирают, гладят песок у края соседней ямы.

Анна, зарыдав, вскакивает и бежит в глубь кладбища.

Ален и Жак фотографируют Изабель; вот она лежит на чужом надгробии, вот пересыпает комочки земли у своей будущей могилы, а вот идет к месту последнего упокоения, босиком, зажав сабо под мышкой, – ветер вздымает подол ее платья, девушка похожа на призрак, а может, это и есть призрак, уходящий вдаль по длинной аллее; волосы призрака развеваются над головой, синицы щебечут ему вслед о береге небытия, куда все мы возвращаемся, рано или поздно: «Вернись, о чудный призрак девушки, прекрасней которой не было на целом свете, вернись в лунный край, где ты родилась, сойди в подземные чертоги, полные ночных ароматов!»

Но Изабель в это не верит. Она знает: ее ждет всего лишь каменистая земля, в которой она будет гнить и разлагаться меж истлевших гробовых досок. Какая мерзость! Сволочь он – этот Бог! И Анна безутешно плачет, уткнувшись в каменную, одетую мхом стену, кишашую розовыми блошками, спутницами всех мертворожденных младенцев, нашедших вечный приют в сей блаженной юдоли.

Изабель пошевелилась на плите, прикрыла глаза ладонью от безжалостного солнца.

Тишина. Потом снова синицы. И дрозды – только очень далеко, здесь мне их уже не увидеть, когда-нибудь они пролетят над этой могилой, они проживут на два-три года больше, чем я, от меня к тому времени останется скелет в лохмотьях, а потом наступит их черед, и в один серый ноябрьский день они застынут под кладбищенской стеной кучкой слипшихся внутренностей и перьев. А моя одежда. . . нет, не хочу думать о своем последнем наряде. Да ведь я уже и выбрала то белое с золотой оторочкой. Белоснежное, чистое мое платье. . . О, Марк, мой Марк, как хорошо, что ты мой, что мы любили друг друга! Я не умру девственницей. Марк, любимый мой, ты увидишь меня в этом белом платье, с руками, сложенными на золотой шнуровке. Папа и мама закроют гроб, и вы проводите меня до Креси.

На теплую плиту села пчела; Изабель открывает глаза, вытягивает руки вдоль тела и прижимает ладони к камню. Ласковое солнышко, маленькая хлопотливая пчелка, успевшая припудриться пыльцой примул, арники, сережек орешника; маленькая пчелка, как сладок будет твой мед зимой, только я уже не успею его отведать.

К тому дню Изабель весила не больше тридцати пяти кило.

Солнце нагревает сквозь ткань ее округлые груди, такие упругие, такие свежие, такие юные на этом жалком иссохшем тельце.

Теперь происходит нечто трогательное: Марк встает, подходит к девушке, садится рядом с ней на плиту и кладет загорелую руку на бледный лоб Изабель. Он не двигается, он молчит, он просто неотрывно смотрит в ее жгуче-черные глаза и говорит с нею взглядом; он любит ее на этой границе света и мрака, он останется здесь, в царстве света, птиц, летнего тепла, а она уйдет, обратится в холодную тень, в блуждающую тень, обительницу подземного царства! О Марк! Как прекрасен был твой жест там, на могиле, солнечным мартовским полуднем, над лучезарной долиной! Как мягко легла твоя рука на белый лоб, как любовно проник твой загадочный светлый взгляд в зрачки этой живой, над которой уже нависла гробовая тень!

Их глаза наполнились слезами. И они заплакали, эти дети, они молча оплакивали свою любовь, грядущее ужасное одиночество. Кто решает людскую судьбу? Кто выносит приговор? Марк, Изабель. . . Она проживет еще десять или пятнадцать дней, а потом на нее наденут белое платье, положат в гроб и отвезут из Лозанны на кладбище, которое она выбрала для себя, в эту тесную могилку, под это яркое солнце.

Орфей и Эвридика лежат рядом на могильной плите, слушают шепот ветра в траве, вдыхают горький запах костров, вздрагивают, заслышав пронзительный отрывистый зов синицы. Мальчики и девочки отошли на другой конец кладбища и глядят на них издали; никогда не забудут они эту сцену.

Все это было рассказано Жану Кальме гораздо позже, в конце марта, когда на деревьях уже раскрывались почки, когда сережки стали золотиться желтой пыльцой, а на башенках собора влюбленно заворковали сизые и розовые голуби.

Всегда боявшийся опозданий, Жан Кальме первым прибыл в «Тополя» и тем самым обрек себя на скорбный разговор с матерью. Он глядел на тщедушную женщину со смесью сочувствия и ненависти. Это из ее чрева он вышел на свет. Это от нее унаследовал хилое сложение, болезненную впечатлительность и ту пресловутую душевную тонкость, которую его отец громогласно восхвалял лишь затем, чтобы удобнее было унижать и высмеивать жену. Серая. Нет, серенькая – так вернее. Его мать походила на старую серенькую боязливую мышь.

Она не осмеливалась затронуть ту единственную тему, которая ее интересовала, ходила вокруг да около, говорила путано и туманно. Впервые в жизни Жан Кальме без страха обозревал просторную столовую с начищенной медной посудой, игравшей бликами в лучах закатного солнца. Вдоль стены тянулась длинная скамья, большой обеденный стол пустовал, но стулья с соломенными сиденьями и высокими спинками по-прежнему указывали места членов семьи. Дальний конец стола, у стены, был заповедной территорией отца. Доктор всегда сидел в нескольких сантиметрах от напольных часов с маятником, в громоздком, длинном, как гроб, футляре, ведущих свое происхождение из дебрей Юра, где, верно, какой-нибудь двоюродный прадедушка, прихлебывая кирш и напевая псалмы, старательно вытачивал их всю зиму напролет, сидя у окошечка, подернутого белыми узорами инея.

Жан Кальме смотрел на часы. Медный циферблат поблескивал в мягком предвечернем свете. Четкое неспешное тиканье отмеривало мгновения тишины, и Жан Кальме опять восхищался отцом, который годами сидел рядом с этим механизмом, что высился за его спиной, как памятник; отец словно хотел приобщиться к фатальной силе времени и убедить домашних в своей несокрушимой власти над ними. Но теперь отец мертв, а тяжелый маятник по-прежнему упорно отбивает удары в гулком деревянном коробе.

– Ты сегодня еще свободен? – робко спросила мать.

Жан Кальме из жалости спросил ее о докторе. Мать тут же оживилась и с боязливой гордостью – о, как он презирал эту ее гордость забитой рабыни, восхваляющей всеислие своего господина! – принялась рассказывать о последних днях мужа:

– Знаешь, мой бедный Жан, он ведь работал до самого конца. До самого конца! Со времени последнего удара ему было трудно дышать, но он каждое утро принимал всех своих пациентов. И слушать не хотел, чтобы оставить их, – дневной прием вел, как всегда. Если бы он хоть отказался от визитов, так нет же! Упорно обходил всех подряд, никого не пропускал. И до конца лечил каждого, кто попросит. Настоящий святой, да, да, бедный мой Жан. Ты только представь себе, чего это ему стоило, с таким больным сердцем! Он буквально задышался, у него случались обмороки. . .

Жан Кальме с возрастающей тоской вспоминал собственное возбуждение в те утра, когда ему доводилось сопровождать отца при обходе больных: ему было тогда восемь-девять лет, они поднимались по бесконечно длинным лестницам или в лифтах с ветхой обивкой и дребезжащими дверцами, затем дважды, как привык доктор, звонили в дверь и входили в тесные, затхлые квартирки, в спальни, где царил кислый запах очередного небритого, стонущего старика.

Дальше следовала неизменная грубая процедура – откинутые простыни, рубашка, задранная до пояса, доктор, приникший к сердцу поверженного человека, точно жадный каннибал, его пальцы, безжалостно месившие рыхлый живот пациента, его покорную вялую плоть, иссохшую или вздутую, сухую, бледную, холодную или наболевшую, воспаленную, багровую. И всякий раз бесстыдно обнаженные гениталии в косматых зарослях волос, между раскинутыми ляжками. И всякий раз стоны, хриплое дыхание, мутные слезы, опухоли, фурункулы, синяки, и все эти жалкие нагие тела, эти выставленные напоказ члены с черными пучками волос, по-

добными мазкам сажи на бледной коже, сливались в страшную и скорбную мозаику больной плоти, отданной на милость жестокому повелителю. Сидя или стоя в укромном уголке, Жан Кальме с немим испугом во все глаза наблюдал эти сцены, зачарованный решительными, точными жестами доктора; он и сам чувствовал себя больным перед этой уверенной силой и покорно отдавался под ее власть. Иногда доктору требовалась его помощь, и он спускался во двор, чтобы достать пузырек или чистый шприц из багажника их старого «шевроле», готовил на кухне чай для больного, растворял порошки в теплой воде и подносил стакан к кровати, от которой исходил тошнотворный запах хвори.

Но вот три дня назад сердце самого доктора не выдержало напряжения. Повелитель больных в свой черед начал задыхаться, сбрасывать с себя простыни, нелепо, как его пациенты, отмахиваться, словно отгоняя смерть, которая цепко впиалась ему в грудь. Долгие часы напролет тиран хрипел, икал, вращал обезумевшими глазами, молотил кулаками воздух, точно большой младенец, и наконец его огромное красное сердце разорвалось в тесной клетке из ребер и мяса.

Жан Кальме глядел на мать с острым интересом, спрашивая себя, как могла она терпеть этот гнет почти пятьдесят лет. Его приводило в ярость ее тупое смирение. Все могло быть иначе, и его, Жана Кальме, жизнь могла сложиться иначе, если бы мать хоть раз взбунтовалась. Но нет, она прожила эти пятьдесят лет, покорно перенося крики, команды, капризы, ярость, обжорство и всеподавляющие мании доктора. Отец и мать оба были выходцами из сельских небогатых семей. Поженились они очень рано. Отец работал день и ночь, как одержимый, чтобы платить за свое учение; кем он только не был – и подручным каменщика, и землекопом, и вокзальным носильщиком, но в двадцать пять лет он открыл свой собственный кабинет в Лютри и остался здесь навсегда. Виноградари считали его своим: он мог перепить любого из них, им нравилась его мощь и сила. Он не упускал случая потискать какую-нибудь из их дочерей, заигрывал с подавальщицами в кафе. У него было багровое лицо, властный нос с горбинкой, грубый рот, шумное дыхание. От него пахло сигарами, белым вином и потом. . . А мать была крошечная, хрупкая, чуточку сутулая. Тише воды, ниже травы. Она часто стояла, застыв в испуге, под дверью, не осмеливаясь войти в комнату, где доктор читал свою газету, осыпая проклятиями весь мир. Потом, вытянув шею и более, чем когда-нибудь, походя на испуганную мышку, вслушивалась в тяжелые удаляющиеся шаги на террасе и хлопанье дверцы машины: слава Богу, уехал, можно вздохнуть. Но хозяин вскоре возвращался, снова скандалил, снова переворачивал все вверх дном, и опять она бесшумно семенила из комнаты в комнату, боязливо прислушиваясь, замирая у порога, где ее находили дети, уязвленные материнской робостью, но слишком запуганные сами, чтобы подвигнуть мать на мятеж.

Представитель похоронного бюро прибыл одновременно с братьями и сестрами Жана Кальме. Все расселись вокруг стола. Служащий – церемонный, одетый в черное – извлек из портфеля длинную брошюру и мягко положил ее на стол.

– Прежде всего, позвольте мне выразить вам сочувствие от имени нашей фирмы, – проникновенно сказал он. – Мы знаем, что семьи, потерявшие близкого человека, нуждаются в наших услугах. И мы стараемся максимально полно удовлетворить ваши желания. Кремация вашего уважаемого отца состоялась вчера, и теперь, я полагаю, вы хотели бы заказать нам урну для праха. . .

Все молчали. Представитель похоронного бюро также сделал паузу, дабы подчеркнуть значительность своего сообщения, затем продолжил, столь же медоточиво:

– Разумеется, наша фирма располагает не менее чем двадцатью различными моделями, от самых дорогих и изящных до более скромных. Так же, как и в выборе гробов. Мы предлагаем широкую гамму: от дубовых, с шелковой обивкой, до простого елового ящика, смотря по обстоятельствам. Но в данном случае речь не об этом. Давайте посмотрим урны.

Он кашлянул и раскрыл свой каталог так, чтобы все члены семьи могли видеть рисунки и фотографии, игравшие всеми цветами радуги на глянцевой мелованной бумаге. Его стертное лицо над черным костюмом служителя смерти теперь сияло сознанием важности момента. «Ах ты, трупоядное! – подумал Жан Кальме. – Живешь этой мерзкой торговлей, наживаешься на пепле покойников!» Но тут же понял, что в нем говорит зависть к уверенным повадкам бледного невозмутимого человека, похожего на лысого ибиса, к его умению по нескольку раз в день, а может, и каждый вечер выводить из затруднения семьи, перед которыми траур поставил массу неразрешимых задач. Служащий перелистал каталог под взглядами присутствующих.

– Как видите, дамы и господа, мы располагаем всеми видами урн. – Он гордо приосанился. – Вот модель А-1, из белого каррарского мрамора. Эта урна довольно тяжела – двенадцать килограммов сто граммов веса. Сорок семь сантиметров в высоту. Весьма устойчивая модель. Разумеется, цена немалая, но зато по красоте – лучшее, что можно найти. Обратите внимание на изящество силуэта, на безупречную полировку. Настоящее произведение искусства!

И он почтительно указал на фотографию большой вазы, словно выточенной из цельной глыбы белоснежного, идеально чистого льда.

– Перейдем теперь к модели А-2, – продолжил он, выдержав восхищенную паузу. – Это также необычайно тонкая работа. Сделана из красного крапчатого мрамора с коричневыми прожилками – подлинность материала гарантируется; крышка того же рисунка, резные украшения, круглое основание, вес – одиннадцать килограммов, высота сорок семь сантиметров. Ваша кошка или собака смело могут играть рядом – такую урну перевернуть невозможно. А вот модель Б, также из мрамора настоящей брекчиевидной структуры: взгляните на ракушки в породе – сразу видно, что это не подделка, такой материал доставляется из-за границы специально для нашей фирмы. Модель может быть выполнена в двух вариантах: вам стоит лишь заказать, и мы изготовим для вас урну большого формата, где помещается прах двух усопших. Заметьте, насколько это практично, а главное, какое утешение знать, что когда-нибудь ваш прах смешается с прахом любимого человека; многие люди мечтают об этом.

Жан Кальме вздрогнул от отвращения. За столом никто не пошевелился. Служащий перевернул страницу и залился соловьем пуще прежнего:

– А вот модель Б-2 – весьма искусная имитация мрамора, цвета – зеленый и черный, с надписью золотом; последнее фирма берет на себя. Модель В – темная бронза, с рельефными узорами на выбор – гирлянда из листьев плюща или тюльпанов. Модель Г – сделана из стали с приваренными ручками и небольшой крышкой на замке, который обеспечит вам такую же

непроницаемость, как любой сейф. Замечу попутно, что мы изготавливаем ту же модель в миниатюре, а именно размером с голубиное яйцо, для праха мертворожденных младенцев; ее легко поместить в багаж, например в чемодан или дамскую сумку; таким образом, вы можете возить с собою вашего усопшего крошку всюду, куда пожелаете. Разумеется, при больших урнах, для праха взрослых, это затруднительно. Однако все наши модели снабжаются, по вашему заказу, цоколем, который мы сами можем установить у вас в гостиной, в кабинете, словом, где вам будет угодно. Таким образом, вы никогда не расстанетесь с дорогим усопшим.

Жан Кальме снова вздрогнул. Нужно любой ценой воспрепятствовать тому, чтобы урна отца осталась в «Тополях». Ее следует закопать подальше отсюда, навсегда запереть в каком-нибудь склепе, за крепкой решеткой. И он тоскливо спросил:

– А нельзя ли поместить урну в колумбарий? Там наверняка есть свободные ячейки. Таким образом, наши знакомые могли бы отдавать долг памяти отца, не тревожа этот дом. . .

– О, нет ничего легче! – ответил служащий к великому утешению Жана Кальме. – Стоит только позвонить, и мы уладим эту проблему с крематорием. Мы сами займемся всем этим и пришлем вам квитанцию; эта система у нас давно разработана и действует безотказно. Вы можете стать владельцем ячейки на двадцать пять лет. В этом случае за год до окончания срока вы получите официальное уведомление от Центрального бюро кремаций и захоронений вашей коммуны, и у вас будет достаточно времени, чтобы принять нужное решение. Впрочем, газеты также периодически публикуют подобные напоминания. – И он добавил, как бы про себя: – Да, колумбарий – это прекрасный вариант; там есть служащий, который содержит ячейки в чистоте, он каждое утро обмахивает пыль с урн, и они блестят, как новенькие!

Жан Кальме представил себе, как служитель в голубой спецовке заботливо обмахивает метелкой каждую мраморную или латунную урну, вычищая пыль из каждой бороздки, с каждого завитка ручки или крышки, из каждого уголка ячейки с маниакальным старанием человека, работающего под взглядами сборища призраков. Но особенно его взволновало слово «ячейка» – оно тотчас вызвало совсем иные ассоциации: шорох шелковистых крыльев, нежное воркование, встопорщенные серые и розовые птичьи грудки, любовные слияния голубей; все это смутно забрезжило в мозгу Жана Кальме, едва представитель похоронного бюро вымолвил, без всякого злого умысла, слово «колумбарий»*. Значит, это место в ограде кипарисов теперь будет проникнуто для него легкой, теплой прелестью голубятни, где солнце, ложась ровными полосами между черными стволами деревьев, играет радужными отблесками на крыльях и клювах, заставляет вспыхивать коралловым светом глаза и лапки, озаряет бесконечные нежные птичьи ласки в глубине прохладных ячеек.

После ухода служащего члены семьи долго изучали каталог, передавая его из рук в руки. Жан Кальме изумленно взирал на своих братьев и сестер. Никогда еще он не чувствовал себя таким чужим среди них. Они наконец разговорились – оживленно и тем более громко, что в присутствии работника похоронного бюро вынуждены были молчать. Он холодно, испытующе обводил их взглядом. Вот старший брат Этьен, инженер-агроном, рослый, краснолицый, как отец, но не такой коренастый и могучий; он очень рано женился и ушел из дома, лишь бы избежать отцовского гнета. А вот средний. Симон, учитель, рыжеватый изысканный Симон, у которого были неприятности из-за того, что он однажды на все лето уединился с несколькими мальчишками в горном шале. Симон, любимчик матери. Симон, все свое детство отиравшийся подле нее, чтобы выслушивать боязливые, сделанные шепотком слезные признания. Симон-орнитолог. Симон, любитель рыскать по лесу, не отрывая бинокля от глаз. Симон, к которому

*Французские слова *columbarium* (колумбарий) и *colombier* (голубятня) созвучны. Во Франции голубятни строились, как правило, в виде круглых башен со множеством ячеек внутри. (Здесь и далее примеч. перев.)

Жан Кальме питал жгучую зависть, ибо при нем вечно состоял какой-нибудь юнец – лежал рядом с ним в кустах, приманивая птиц, или стоял рядом на коленях, помогая кольцевать сойку, или поглаживал кончиком пальца головку синицы, пойманной в сеть, натянутую в саду, меж двух яблонь. Жан Кальме не любил своих братьев, но их он хотя бы более или менее понимал. А вот сестры, наоборот, представляли для него непроницаемую тайну; между ним и этими двумя женщинами лежала глубокая пропасть, они всегда порождали в нем лишь тоскливую боязнь и стыд. Белокурая Элен работала сестрой в больнице, где с утра до вечера обсуждала с врачами операции, шоковую терапию и прочие медицинские премудрости. И Анна, двумя годами старше его, всегда веселая, всегда торопящаяся Анна, которая ничем не занималась, только путешествовала, присылая открытки из Швеции, из Америки, из других мест; она исчезала, возвращалась обрученной, изменяла своему возлюбленному, опять уезжала, заводила нового жениха, изучала новый язык, осваивала новую страну, после чего опять объявлялась на родине, дабы распутать сложные перипетии своей бурной жизни.

Жан Кальме был самым младшим – «младшеньким, Бенжаменчиком», как его называли в детстве; Жана буквально тошнило от этого, он багровел от стыда и ярости, слыша это слово в воскресной школе, на уроках катехизиса, когда пастор рассказывал историю младшего сына Иакова: «Рахиль умерла в родах; она желала назвать своего сына Бенони – дитя страдания, но отец нарек его Вениамином, что означает "сын правой руки моей"...». Жан Кальме также носил второе имя – Бенжамен, вписанное в его документы, в результате чего всегда с омерзением предъявлял свой паспорт, удостоверение личности, военный билет и прочие бумаги – они вечно напоминали ему это ненавистное имя. Наедине с собой он нередко повторял его вслух с чисто мазохистским наслаждением, стараясь сделать себе побольнее, маниакально отчеканивая согласные: Жан Бенжамен Кальме. Жан Бенжамен Кальме, Жан Бенжамен Кальме, вилла «Тополя», Лютри, кантон Во. Жан Бенжамен Кальме, студент филологического факультета. Расстрелять Жана Бенжамена Кальме, 7-я рота, 4-й взвод, Кампанья. Жан Бенжамен Кальме, преподаватель кантональной гимназии в Ситэ, улица Ровереа, 78, Лозанна.

Дети доктора Поля Кальме и его супруги Жанны, урожденной Росье. Семья. Потомство. Придите, сыновья мои, спешите ко мне, дочери мои, согрейте мои озябшие члены, да усладит ваша сила дни старости моей, а когда я скончаюсь, займитесь моим прахом! Ибо так вы поймете, что не весь я умер, что кровь моя будет течь в жилах ваших до последнего колена. Этьен, Симон, Элен, Анна и Жан. До последнего колена, скажите пожалуйста!.. Жан Кальме с трудом сдержал ироническую усмешку: дети были у одного только Этьена, и он отнюдь не стремился сблизиться со своими племянниками, которые казались ему взъерошенными орудиями дикарями в те редкие дни, когда он видел их в «Тополях».

Жан Кальме задумчиво разглядывал лица своих братьев и сестер в свете лампы. Стало быть, смерть отца ровно ничего не изменила в них? Иначе как объяснить эти по-прежнему натянутые позы, раздражающе чопорные, почти боязливые движения, когда они листали и передавали друг другу каталог? Его братья всегда старались принимать себя всерьез. Вот и теперь они играли роль осиротевших детей с серьезностью, от которой его тошнило. А Элен и Анна по-прежнему оставались для него чужими, и притягательными и отталкивающими незнакомками, чьи тела сочились мерзостной влагой из потаенных щелей. Нет, все было по-прежнему: громкое тиканье тяжелых часов, оранжевый свет лампы над столом, яркие блики на медной посуде и темном полированном дереве скамьи; и все так же в открытом окне виднелось озеро, и ночь синела над черным зеркалом воды, и вдалеке, у подножия гор, блестели крошечные огоньки Эвиана. Все, как прежде. Все, как всегда. Тоска заполняла душу Жана Кальме, дурманила его, как смертельная усталость. Пытаясь стряхнуть ее с себя, он также взял в руки каталог и внезапно ожил, возликовал. Отец умер, умер и его сожгли в

крематории! Доктор мертв. От него осталась лишь кучка пепла! И он принялся читать вслух, попутно комментируя, описание самых дорогих урн, особенно рекомендованных служащим, уточняя некоторые пункты, возвращаясь к другим; он говорил, не останавливаясь, громко и отчетливо, словно разбирал текст в классе, перед учениками.

Наконец члены семьи сошлись на урне из брекчиевидного мрамора, модели Б-1. Все находили красивой эту породу с вкрапленными в нее ракушками, красновато-коричневый камень слегка золотился, название звучало изысканно и загадочно. Это изделие выглядело в высшей степени естественным именно из-за ракушек, оживлявших мрамор: оно, как подумал втайне каждый, соответствовало примитивным вкусам отца. Они выбрали «одноместную» модель. Этьену поручили сделать заказ в похоронном бюро.

На обратном пути Жан Кальме встретил ежа и долго смотрел на него. Машину свою он оставил дома, в гараже, и теперь неторопливо поднимался по дороге Ровереа, как вдруг ему послышалась тихая возня у изгороди, а затем пыхтение, что-то вроде тоненьких всхлипов попеременно с похрюкиванием. Странная встреча – ежик был до того поглощен своими делами, что даже не заметил Жана Кальме, – но она неожиданно успокоила его, ублаготворила на много дней вперед, словно крошечный зверек, копошившийся в синей траве мокрого от росы сада под неверным лунным светом, дал человеку урок тихого животного счастья.

Сначала Жан Кальме увидел глазки ежа – черные зрачки в золотой каемке, очень красивые, ярко блестящие в темноте, под низкими ветвями лавра, окруженные длинными, шелковистыми, также золотящимися волосками. На темном гладкошерстном рыльце непрерывно шевелился, что-то жадно вынюхивал черный носишко, похожий на мокрую вишенку. Жан Кальме стоял, не двигаясь, не дыша, боясь, что зверек заметит его и исчезнет. Ему почему-то ужасно хотелось, чтобы ежик остался тут подольше, словно он ждал от него какого-то совета. Все чувства Жана Кальме устремились к этой маленькой изящной головке, четко видной в лунном свете на фоне темной листы. Потом в этой тени что-то зашуршало, и появилось туловище ежа, длинное, гибкое, но с круглым брюшком, выглядевшим до странности чувственно. Коротенькие ножки пробежали несколько сантиметров, нос опустился к земле, вынюхивая добычу, круглое тугое брюшко всколыхнулось под броню щетинистых иголок с белыми кончиками, которые мерцали в темноте серебристым ореолом, придавая этому вполне земному явлению вид загадочного призрака.

Жан Кальме, застывший на месте, чувствовал, как в нем поднимается какое-то странное, мощное нетерпение. Внезапно он ощутил запахи ночных дорог, мокрой травы, влажного перегноя, увидел следы улиток и жуков, услышал шуршание хитрых, боязливых полевок, словно из потаенных недр земли на него вдруг брызнули ее скрытые, живящие соки, оскверняя, будоража, наполняя все его существо новой, свежей, хмельной силой. Каким необыкновенным казалось ему появление дикого зверька среди ухоженных садов и роскошных вилл! Возникнув из нетронутой могучей земли, это крошечное создание, простодушное, невинное, в колючем серебристом венце своих иголок, стало тем знаком природы, которого Жан Кальме неосознанно жаждал всю свою жизнь, символом веселой, дикой свободы, свидетельством того, что никому не дано победить великие силы земли, которые таятся в ее недрах, временами вырываясь на волю прямо среди жалких творений рук человеческих. . .

В последующие месяцы Жану Кальме еще предстояло встретить несколько других зверей-предвестников. А в ту ночь он спал глубоко и спокойно. И наутро, открыв глаза, понял, что не видел никаких дурных снов – ни быка, ни отца, что бросались бы на него с вершины и давили насмерть! Он узрел в этом благой знак и с радостью отправился в гимназию.

Жан Кальме прикрывает за собой дверь учительской и шагает по уже опустевшему коридору, где бюст Рамю*, черный, мрачный, уперся пустым взглядом в маленький умывальник возле секретариата. Жан Кальме идет медленно, так, словно в нем испортился какой-то внутренний механизм. А ведь утро прошло замечательно, он провел сегодняшние занятия с бодростью человека, вернувшегося из отпуска... На площади он застывает в оцепенении. Колокола собора отзванивают полдень. Колокол, гудящий шмелиным басом с вершины холма, тяжкая песнь бронзы, слышная далеко окрест, небесный хор монахов и епископов, коих сменили суровые кальвинисты в квадратных шапках. Пугливая сорока облетает стороной прозрачные дрожащие ореолы голых осин. Жан Кальме чувствует, что у него подгибаются ноги, но при этом взгляд четко фиксирует веселый пейзаж, низкие деревца, могучую тушу собора, ярко-желтого под солнцем, и туманный провал на месте города, у подножия холма. В воздухе, дрожащем после колокольного звона, еще витает нечто живое, почти насмешливое, как школьная дразнилка... Жан Кальме идет дальше, мрачно думая: «Наверное, я – единственный, кто грустит в такой сияющий день». Нынче он провел замечательный урок по Петронию и Апулею. Его ученики любят разбирать вместе с ним латинские тексты. Писатели эпохи декаданса кажутся им понятными, близкими. Зато они терпеть не могут Цицерона и Вергилия, которых считают прислужниками власти и ассоциируют со школьной скукой, сочинениями, переводами и составлением планов. А вот магия текстов из смутных периодов истории, родство с восточной литературой, иррациональная страстность, напротив, привлекают их, буквально зачаровывают, и каждый урок на эту тему оживляется рассказами о колдуньях, оборотнях и волшебных плутнях из романа Апулея. Но откуда тогда это изнеможение, эта дрожь во всем теле? Жан Кальме направляется к кафе «Епархия». Его обгоняет стайка девочек в джинсах; они громко болтают и хохочут, их длинные волосы прыгают по плечам, с которых еще не сошел загар летних каникул. Жан Кальме входит в «Епархию» и садится у окна, к единственному свободному столику. Заказав «рикар», он мрачно созерцает пейзаж за окном. Хорошенькие девчонки в джинсах как раз в эту минуту переходят по мосту Бессьер на правый берег, толкаясь, дурачась, оглядываясь по сторонам; их резкие движения смотрятся вызывающе на серо-голубом фоне неба. Жан Кальме даже издали чувствует их веселую юную силу, и сердце его пронизывает давно знакомая острая тоска.

Он отпивает «рикар» из рюмки.

Это вино – плохая подмога невротикам. Оно наводит скверный дурман. Уши закладывает, словно в них напихали вату, желудок мучится сладковатой отрыжкой – предвестием рвоты: вот когда позавидуешь шумным, несокрушимо здоровым гимназисткам. Жан Кальме погружается в это тошнотворное состояние, как в вязкий сон. Зачем он стал преподавателем? Чтобы избежать общества взрослых? Ему слишком хорошо известно, что самым ужасным из них был его отец – был и остается после своей смерти. Школьные классы, в которые он входил прежде и куда будет входить всю свою жизнь, служат ему убежищем от страшной отцовской власти, грозящей обрушиться на целый мир. Убежищем, впрочем, весьма хрупким и тем более ненадежным, что духу мертвеца проникнуть туда много легче, нежели его грузному телу! И почему именно в этот миг Жан Кальме с тоскливой нежностью вспомнил горное шале, где он проводил в детстве конец летних каникул? Быть может, именно оттого, что сейчас его мучили одиночество и усталость? Ему явственно привиделся тамошний пейзаж: вечер, из глубины долины поднимается ветерок, он срывает листья с платанов, но они не взмывают в воздух, как листва других деревьев, а летят горизонтально, по направлению к волшебной горе, уже

*Рамю Шарль Фердинанд (1878-1947) – швейцарский франкоязычный писатель, автор многих романов, эссе и рассказов.

окутанной сумерками и гудящей голосами колоколов. Внизу простиралась иссохшая долина. Там всюду гулял холодный фен, взметая сухие листья в густую синеву неба. . . Жан Кальме вновь видит отца и мать, сидящих под красной лампой в комнате с бревенчатыми стенами; он находится тут же, рядом, читая «Остров сокровищ». Затем он встает, подходит к окну, и взлохмаченные ветром волосы падают ему на глаза. Эта сцена запечатлелась в его памяти с поразительной четкостью: трава вокруг шале, дрожащая от порывов ветра, фиолетово-синий вечер, красная лампа, белая рубашка доктора, распахнутая на груди, поросшей седеющими волосами, мать – чуть дальше от света, с журналом на коленях, долгие паузы в разговоре и жалобный вой фена в ветвях платанов. «Ах, все было возможно тогда!» – думал Жан Кальме, терзаясь невозвратимостью счастливого видения. Да, все было возможно: вырезать лодочки из коры, читать истории про пиратов, рисовать зубьями вилки узоры на масле, пугать друг друга призраками с чердака, состязаться с доктором в стрельбе из пращи, неотрывно следить за галками, летавшими над белым гребнем холма, – их стремительные виражи напоминали прихотливые узоры на вышивке, а хриплые воинственные крики вызывали только улыбку.

Жан Кальме одним глотком допивает свой «рикар», и его мысли вновь обращаются к прошлому, счастливому, беззаботному прошлому, когда вся жизнь была впереди, полная обещаний и возможностей, и ничто не грозило разрушить душевный покой и любовь. . .

Его сотрясает дрожь. Вокруг него заканчивают обед рабочие в спецовках, торговцы в белых халатах; они платят по счету и расходятся по своим гаражам и лавкам. Их сменяют первые группы гимназистов, прибегающих сюда в перерыв между уроками; рассевшись маленькими компаниями, они смеются, курят сигареты, заказывают кофе, мальчишки обнимают за плечи своих подружек. Жан Кальме никак не решается встать и выйти. Его сковало оцепенение. Куда подевалась утренняя энергия? Но ему нравится думать, что гимназия – это сборище чистых душ – берет реванш над миром взрослых унылых людей, что «Епархию» каждодневно заполняют эти юнцы, устанавливающие здесь свой порядок. Или беспорядок, какая разница! Главное, теперь, когда доктор мертв, никто не может читать в его душе, и эта мысль необыкновенно утешает его. Он с тайной радостью поглаживает траурную ленточку, вот уже шесть дней украшающую отворот его пиджака. Некоторые из учеников вежливо здороваются с ним. Он заказывает ростбиф и принуждает себя съесть все до крошки. Скоро четверть третьего, конец перерыва; подростки встают и, шумно переключаясь, вываливаются на улицу пестрой ватагой – длинные, развевающиеся волосы, бусы с колокольцами, сари, застиранные джинсы, противоатомные значки, солдатские американские куртки, курчавые бородки, блестящие зубы. Затем площадь пустеет. Соборный колокол отбивает четверть часа. Кафе обезлюдело, официантки вытряхивают пепельницы в большой алюминиевый короб, который с грохотом тащат от стола к столу. Жан Кальме встает, выходит и медленно, задумчиво шагает по улице Мерсери.

Он распахнул дверь маленькой парикмахерской и с удовольствием вдохнул царившие там ароматы дешевой косметики. Эти сладковатые запахи были неотъемлемой частью приятного получасового забытья, проводимого в кресле. Вдобавок Жан Кальме был крайне доволен тем, что оказался единственным посетителем салона: значит, месье Лехти сможет посвятить ему все свое время, побалуует, ублажит его как следует, и он сможет отдаться удовольствию процедуры бритья во всей полноте – и без свидетелей. Это было второе необходимое условие – никаких нетерпеливых взглядов за спиной, нервного шуршания газетой, многозначительного покашливания. . . Сидя в ивовом кресле посреди своего салончика, месье Лехти читал итальянский рекламный журнал. При виде клиента он расплылся в улыбке, вскочил, и Жан Кальме в который уже раз испытал чувство доверия и спокойствия, глядя на старого парикмахера с его длинными редкими зубами, впалыми щеками и высоким лбом с залысинами. Из нагрудного кармана его голубого халата высовывалась светлая расческа. Широким театральным жестом он пригласил Жана Кальме сесть в одно из двух потертых кожаных кресел. Жан сел, слегка откинулся назад, и его затылок коснулся приятно прохладного подголовника. И тотчас же его охватило предвкушение близкого и еще более полного счастья. Но торопить парикмахера не следовало. Месье Лехти действовал медленно, крайне старательно, и Жан Кальме восхищенно следил за его приготовлениями к действию в тишине салона, насквозь пропитанного одеколанными запахами.

Жан Кальме вкушал отдохновение в этих «палестинах» отнюдь не случайно. Старенькая базарная парикмахерская не пользовалась популярностью. Кроме того – и это огромное преимущество для людей, которым нравится погружаться в себя! – месье Лехти не принадлежал к числу тех брадобреев, что оглушают свою жертву потоком спортивных новостей. Он был молчалив, сдержан, и с его тонких губ слетал лишь один сакраментальный вопрос: «Не беспокоит?»

Он обмотал полотенчиком шею Жана Кальме, и тот в сотый раз удивился, до чего же меняет облик человека этот белый лоскут. Его черты, отражаемые наклонным зеркалом, вбиравшим в себя еще и край столика из искусственного мрамора, странным образом заострились, приобрели выразительность, подчеркнутую белоснежным обрамлением, и лишь теперь Жан Кальме мог созерцать себя снисходительно, без ненависти.

Месье Лехти взял с полки стеклянную коробочку и отсыпал из нее в алюминиевую чашку горсть крупного мыльного порошка. Добавив теплой воды, он аккуратно взбил помазком пену в блестящем сосуде – единственном ярком предмете среди блеклых деревянных стен его лавчонки. Шли минуты, помазок неспешно взбивал густеющую массу. Затем месье Лехти поднес чашку ближе к свету, удовлетворенно оценил полученную консистенцию и лишь тогда принялся накладывать пышную пену на лицо Жана Кальме, тут же размалевывая ее быстрыми круговыми движениями, старательно втирая мыло в кожу клиента, который сидел, закрыв глаза и откидывая голову под сильными, мерными нажимами помазка. Процесс намыливания лица дарил Жану Кальме необыкновенное ощущение спокойствия и свежести, вызывавшее приятную дрожь во всем теле, до самых колен.

Теперь месье Лехти взялся за бритву; он долго правил длинное лезвие на кожаном, широком, как португепя, ремне, который натягивал левой рукой. Бритва представляла собою блестящий стальной инструмент с желтоватой роговой рукояткой; лезвие мерно посвистывало, касаясь ремня. Закончив точить, парикмахер проверил остроту бритвы пальцем.

– А теперь за работу, месье Кальме! – промолвил он, улыбаясь во весь свой щербатый рот. Взяв в левую руку помазок, он еще раз взбил пену на щеках и подбородке клиента.

Бритва касалась кожи с неправдоподобной деликатностью. Сперва она прошла вокруг

бачков, четко обведя их контуры, затем вдоль щек, тщательно соблюдая симметрию – прикосновение к левой щеке, глассада вниз, сопровождаемая легким поскрипыванием, и тотчас же аналогичная операция справа; опять возврат налево, спуск к уголку губ – и тот же самый маршрут на другой стороне; рот чуточку скривился, натягивая кожу, чтобы острому лезвию было легче скользить по ней. На всякий случай месье Лехти еще раз вернулся к скулам и тщательно, но без нажима, провел бритвой по уже гладкому лицу.

Жан Кальме сидел с закрытыми глазами, смакуя невыразимо приятное ощущение свежести. Душа его исполнилась глубокого беззаботного покоя, каждое прикосновение бритвы напоминало деликатный знак внимания, дарило утонченное наслаждение. Он доверчиво отдавал себя на волю этих жестких умелых пальцев, этого заточенного лезвия, охотно вдыхал приторно-кисловатый запах рабочего халата и других парикмахерских атрибутов; поскрипывание бритвы, тихое, убаюкивающее, притупляло горькие воспоминания, доставляло сладостное, щекочущее удовольствие, растекавшееся по всему телу. Месье Лехти решительно откинул голову своего клиента назад и приступил к бритью подбородка скупыми круговыми движениями: лезвие теперь ходило совсем осторожно, то и дело возвращаясь к уже обработанным участкам, задерживаясь под нижней губой, а большой и указательный пальцы брадобрея легонько прищипывали кожу, то растягивая, то отпуская ее и помогая бритве, которая усердно оголяла лицо, непрерывно совершенствуя его вид.

Затем лезвие спустилось к кадыку, достигло белой повязки и вновь пошло вверх, сантиметр за сантиметром – к горлу, к левой половине нижней челюсти, к правой, к ушам, на миг задержалось в какой-то до сих пор не тронутой точке, подобралось к бачкам, двинулось к крыльям носа, поскребло закругленным концом в складках, до блеска отполировало напоследок щеки и подбородок.

Жан Кальме купался в тихом блаженстве.

Месье Лехти положил бритву на столик из искусственного мрамора.

Он добавил теплой воды в чашку с пеной, взболтал ее кисточкой, снова намылил щеки и шею Жана Кальме, взял бритву, подточил лезвие и очень медленно, словно желая всего лишь снять пену с лица, прошелся по нему теми же искусными глиссадами; зеркало отразило идеально гладкую, слегка лоснящуюся кожу.

Месье Лехти отодвинул край полотенца, подсунул в щель нагретую губку и обтер шею Жана Кальме за ушами и под подбородком. Затем он проворно открыл большой флакон матового стекла и опрыскал выбритое лицо одеколоном с острым кисловатым запахом ярмарочного леденца; спирт едко защищал кожу, но тут же выветрился, оставив приятное ощущение прохлады. Месье Лехти снял со своего клиента полотенце, обмахнул им его плечи, и вновь тайная счастливая дрожь пронизала все тело Жана Кальме.

– Причешите, пожалуйста! – сказал он.

Месье Лехти старательно расчесал волосы Жана Кальме. Процедура завершилась.

Жан Кальме расплатился, пожал руку месье Лехти и на миг задержался у порога салона. Воздух был свеж, послеполуденное солнце золотило дома старинной улочки, сентябрь близился к концу. . . Жан Кальме вдохнул полной грудью и пошел бродить мимо лавок, заглядываясь на витрины. Он все еще смаковал недавнее удовольствие, им владела блаженная расслабленность и какая-то особая радость; всем своим существом он стремился быть узнанным, быть любимым, быть сильным и всемогущим. И Жан Кальме глядел на прохожих с новой уверенностью, безбоязненно изучая их лица и одежду, оценивая походку, любясь женщинами, особенно женскими глазами – дивясь их разнообразию, их прелести, огоньку, играющему в зрачках. Многие из них отвечали Жану Кальме взглядом, который обжигал до мозга костей. Значит, и он может быть счастлив, он тоже? Значит, и он может представлять для кого-то

интерес, быть замеченным, выделенным женщиной среди безликой толпы? Неужели так бывает? Ему чудилось, будто одна из них, самая смелая, завлекает его с притворно безразличным видом, будто продавщицы в лавках, встречаясь с ним взглядом, не сразу отворачиваются. И Жан Кальме, приостанавливаясь, со вкусом изучал их жесты, цвет волос и оттенки кожи, угадывал желания и разочарования, планировал встречи, мысленно распутывал интриги, воображал тайные сношения – интеллектуальные и сластолюбивые, длинный осенний нежно-доверительный роман.

Он никуда не спешил. Завтрашний урок был уже подготовлен, и мысль об этом дала ему второй повод к радости. В честь «Метаморфоз» он наградил именами Фотис и Психея пару загорелых белокурых двойняшек, вышедших из магазина с большими пестрыми пакетами. Затем он купил и съел прямо на улице хот-дог и зашел выпить кружку пива в кафе «У моста», откуда долго еще созерцал толпу у дверей универмага.

Зажигались фонари.

Теплый сентябрьский вечер окружал людей и предметы зыбким розоватым ореолом.

Но в тот миг, когда Жан Кальме вышел на маленькую площадь Палюд, он пошатнулся, и ему пришлось привалиться к стене, чтобы не упасть: там, на другой стороне площади, спокойной поступью шел его отец. Его отец! Горячий пот прошиб Жана Кальме, он судорожно впился ногтями в стену ратуши. Вытаращив глаза, он с ужасом следил за призраком: никаких сомнений, это был доктор, собственной персоной. Тяжелый уверенный шаг, коренастая фигура, багровый саркастический профиль под шляпой набекрень. Призрак остановился перед кафе, протянул руку к двери. . . Потрясенный Жан Кальме провел рукой по лбу, с которого струился пот. Мысли его путались, он дрожал, он задыхался, видя этот кошмарный замедленный фильм на другой стороне площади: его отец, входящий в кафе, страшный грузный силуэт, скрывшийся в вестибюле, и затворенная дверь!

Он пришел в себя, ощутив острый холод, пронзивший его с головы до ног. Мимо проехал грузовик с прицепом, он на миг заслонил кафе, где призрак теперь, наверное, пил белое вино, держа в руке дымящуюся сигару и положив шляпу перед собой, на стол. С внезапной решимостью Жан Кальме бегом пересек площадь и ворвался в кафе «Виноградник»: никакого доктора там не было. Четверо или пятеро одиночек попивали вино, а в глубине зала, под стенными часами, сидел краснолицый толстяк, ссутулившись и устало глядя в пространство. . . Неужто он принял за отца этого человека? Не может быть! Ведь всего пару минут назад Жан Кальме явно видел доктора, медленно шагавшего по мощеному тротуару. Он признал его профиль, его тяжелую походку, шляпу, сдвинутую набок, мешковатые брюки, а главное, исходящую от него грубую властную силу. . . Жан Кальме пошел домой. Теперь его страх сменился острой жалостью: отец умер, но вернулся к живым, как неприкаянная душа, – не оттого ли, что он был несчастлив, что его терзали тоска и отчаяние? Но кто поможет ему? И о какой помощи взывал он из своего небытия? Жан Кальме гадливо содрогнулся. Так, значит, ему никогда не суждено обрести душевный покой? Сырая мерзость осени тяжким гнетом навалилась на него. Дрожа, он заперся в своем углу и наглотался снотворных, чтобы уснуть покрепче.

На следующий день отвращение мучило его по-прежнему. Проведя занятия, Жан Кальме пришел домой и сел отвечать на многочисленные письма с соболезнованиями, которые вот уже неделю стыли на его бюро. «... Глубоко тронут вашим сочувствием. . . благодарю за ваше участие. . . » Он бездумно, машинально выстраивал дежурные фразы, представляя себе при этом лица адресатов – коллег, бывших учеников, товарищей по университету: между ним и его письмом вставала целая вереница иронических суждений, с усмешкой оценивающих убогие клише по мере того, как те ложились на бумагу. Более того, страх и сомнения одолевали его все сильнее, пока он вскрывал конверты с траурной каймой, читал грустные послания и отвечал на них. Он благодарил людей, написавших ему по случаю кончины отца. Но тот призрак – вчера, на площади Палюд. . . Впрямь ли доктор был мертв? Все утро Жан Кальме ругал себя за дурацкую веру в привидения. Просто он тогда размяк, поддался глупой, обманчивой надежде на счастье, за что судьба и наказала его тем страшным призраком, той нелепой галлюцинацией. На языке остался горький привкус снотворных, на сердце – тяжкие угрызения совести, чувство вины, не затихавшее все утро, и он твердо решил не поддаваться больше своим фантазиям. Доктор, бродящий по городу, – какая чушь! Только такой психопат и слабак, как он, мог запаниковать от смутного сходства какого-то прохожего с отцом. Жан Кальме ругал себя последними словами. Но к вечеру ему опять стало казаться, что все не так-то просто. Унылое беспокойство точило его душу. «... С тех пор как Ваш отец скончался, мой дорогой Жан. . . » Гневно отшвырнув последнее письмо, он достал из портфеля медицинский трактат, который нынче, убедившись, что его никто не видит, тайком унес из гимназической библиотеки.

Он открыл его на странице 215 и с пристальным вниманием перечел статью, которую ранее наспех пробежал глазами среди библиотечных полок. Она носила заголовок «Признаки смерти». Теперь Жан Кальме изучал каждое слово:

«Помимо остановки дыхания, имеются следующие признаки смерти:

1. Отсутствие сердцебиения.
2. Отсутствие глазных рефлексов, помутнение зрачков.
3. Снижение температуры тела; при температуре ниже 20 градусов смерть очевидна.
4. Появление трупной окоченелости.
5. Появление трупных пятен красновато-синего цвета на мягких тканях тела.
6. Трупное разложение».

Жан Кальме тут же устыдился своего поступка: зачем он стащил эту идиотскую книжонку? Какое глупое ребячество! Он вспомнил, как боязливо оглядывался, судорожно запихивая трактат в приоткрытый портфель. . . Его отец умер 17 сентября. 20 числа того же месяца тело сожгли в крематории. А до этого, в первые же минуты после кончины, доктор Гросс, вероятно, составил свидетельство о смерти, предварительно констатировав эту славную смерть, эту надежную смерть, из которой никто еще никогда не возвращался. Жан Кальме попытался представить себе красные и синие трупные пятна. «На мягких тканях. . . » Багровые пролежни на толстых белых ляжках, словно штукатурка под мрамор. Жан Кальме с отвращением подумал о горгонцолле, этом бледном сыре с синеватыми прожилками – ни дать ни взять окоченелая человеческая плоть с застывшей кровью в венах, с омерзительными фиолетовыми синяками в паху и на коленях. Кстати, о коленях! Жану Кальме вспомнилась одна подробность, которую обычно рассказывали все, кто побывал в крематории: коленные суставы не сгорали в пламени, и служитель, собиравший лопаточкой пепел в холщовый мешочек, бросал туда же и сохранившиеся косточки, – эдакий мрачный рожок с игральными костями. Какая ребяческая аналогия! Но все же она развлекла Жана Кальме, заставив его на минуту позабыть о тоске,

сжимавшей горло. Его мысли обратились к углям святого Лаврентия, к кострам инквизиции, к печам Освенцима. «Нет, это хорошо! – думал Жан Кальме. – Это действительно кардинальное решение проблемы. Схватите еретика, бейте его, заключайте в темницу, штрафуйте, проклинайте, снова мучьте – он все равно будет упорствовать, он все равно будет твердить свое! Но сожгите его – и он умолкнет навсегда. Огонь лишает всего, вплоть до телесной формы. Огонь, великий очиститель! И вот еретик превратился в щепотку пепла – хочешь, брось его в реку, хочешь, развей по ветру. И никто уже не вспомнит о нем», – удовлетворенно подумал Жан Кальме, тут же, впрочем, осознав всю глубину своей ошибки. Совсем напротив! – признался он себе с горькой иронией. Чем страшнее казнь, тем громче зовет к живым пепел. И его не принудишь к молчанию. Кресты инквизиции, костры святого Иоанна, груды туфель и золотых зубов Освенцима – все это возглашает победу над злодейством. Пепелечно жив, он обличает, он зовет к мести, он становится знаменем борьбы с убийцами. Пепел сожженного святого сильнее, чем угли его палачей. Те, кого пожрало пламя, возвращаются и берут слово. А тела, испепеленные огнем. . . Жан Кальме содрогнулся, представив себе отца в печи крематория Монтуа: плоть доктора лопается от невыносимого жара, раскрывается, извергает жир и влагу, в зияющих трещинах шипит, испаряясь, пот, тело долго корчится в огне и наконец рассыпается в глубине печи, превратившись в жуткий холмик из пылающих костей и липких внутренностей, а потом в кучку тлеющих углей, которые медленно тают, оставляя после себя лишь тонкий слой серой пыли в темном жерле топки, на колосниках, что холодеют вместе с прахом, сокращаясь и потрескивая. . . Печаль овевала душу Жана Кальме. Он устал от угрызений совести, от страхов, сердце его горестно сжималось, все тело ломилось так, словно ему перебили хребет, – он едва сидел за своим столом, заваленным книгами и тетрадками учеников. Настольная лампа отбрасывала двойной свет – белый книзу, оранжевый кверху, к полкам с книгами и гравюрами его кабинета. Кабинет! Еще одно словечко, подхваченное им в Лютри, как подхватывают заразную болезнь. «Папа у себя в кабинете. . . Папа зовет тебя в свой кабинет. Поторопись, Жан! Ну, чего ты копаешься, папа ждет тебя в кабинете!» И нужно было все бросить и бежать со всех ног, подняться по звонким ступеням и открыть дверь «пещеры», где доктор, еще более красный от света лампы, восседал среди своих карточек и папок, отбрасывая гигантскую тень на книжный шкаф. И его голос. С первой же минуты враждебный, агрессивный тон, может быть, оттого, что доктор был слишком занят работой, чтобы следить за нюансами, чтобы объясняться, чтобы выслушивать другого, да и зачем, если ему все равно подчинятся. Жан Кальме вспоминал свое унижение; вот он стоит перед отцом, мечтая лишь об одном – как бы поскорее улизнуть, но куда там, приходится выслушивать приказы, терпеть гневные тирады, сальные шутки, жирный смех, всю эту мощную, собранную в одном человеке силу, которая наводила ужас, как гроза над головой. Бесцеремонный, хозяйский тон. Глаза, прожигающие насквозь. Поток слов, одно оскорбительней другого:

– Кретин, дурак набитый, ты ни на что путное не годен! Я работаю день и ночь, гну спину на вас на всех, и на тебя в частности, ради твоего учения, ради твоих удовольствий, и что же я получаю в благодарность – твою унылую рожу? Мямля, размазня ты эдакая! Если бы ты хоть учился как положено! Да нет, куда там! Месье откладывает свои экзамены, прогуливает семинары и просиживает штаны во всех кафе Ситэ. Да еще пьянствует там вдобавок. И с кем, я вас спрашиваю? С такими же бездельниками, как он сам, со всякими паразитами, неудачниками и болтунами. Хорошенькая компания, ничего не скажешь! А что же твои учебники, твои лекции, твоя хваленая латынь? Пшик! Вместо занятий месье гуляет напропалую, месье разглагольствует в кафе, месье кропает стишки. А я что делаю в это время? Я работаю, как проклятый, я вкалываю, я тружусь, да, да, сударь мой! Я бегаю по больным, там оперирую, тут консультирую, да еще изволь возиться с бумажками, заполнять

эти чертовы медицинские страховки и прочее, вздохнуть некогда, ем наспех, сплю стоя, занят днем и ночью, всю жизнь кладу на тебя, да, да, мой бедный Бенжамен, я сказал и еще сто раз повторю: я всю жизнь кладу на тебя, так и запомни!

Громовой разъяренный голос наполнял кабинет. Ужасные голубые глаза на багровом лице метали молнии. Плечи доктора возмущенно вздымались, его мучил кашель, он пыхтел, хрипел, задыхался от ярости. Вжав голову в плечи, беспомощно уронив руки, Жан Кальме с отчаянием взирал на своего разъяренного повелителя. Что ему ответить? Вот это-то и было самое тягостное: отец действовал на него парализующе. Как хотелось крикнуть: «Да ведь ты ошибаешься, я тебя люблю! Мне очень нравятся мои занятия. Я страстно увлекаюсь латинскими авторами. Я так благодарен тебе за то, что твоими трудами мне легко и приятно учиться!» Но он был не в силах вымолвить хоть слово и стоял с унылым видом провинившегося тупицы-двоечника, отчего доктор раздражался и багровел еще сильнее. И как ни силился Жан Кальме, он не мог преодолеть эту кошмарную немоту, выговориться, поведать отцу всю горечь своего одиночества и растерянности; не мог броситься ему на шею, обнять, заплакать, уткнувшись в это крепкое плечо, прижавшись к этой колючей щеке, как прежде, в детстве, когда жесткая отцовская щетина царапала ему кожу, а зычный голос отдавался в ухе, приникшем к горлу доктора. . .

– А теперь убирайся прочь, болван! Ты так же глуп, как твои братья и сестрицы. Подумать только, я дожил до пятидесяти восьми лет и мне не на кого опереться в этом доме!

Пятьдесят восемь лет. Старик. А впрочем. . . Жан Кальме с острым стыдом вспомнил ту грязную историю с Лилианой. Лилиана из Подекса, хорошенькая девушка, даже, можно сказать, красивая, с большими карими глазами, густыми волосами, забранными в «конский хвост», высокая, статная, свежая; ее упругая грудь заманчиво колыхалась в лифчике под полотняной блузкой. Семнадцать лет. Чутьочку вульгарна, да и что тут удивительного – ее отец был черноработчим, семья с пятью или шестью детишками ютилась в рыбацкой хижине. Лилиана была без работы. Нашла место подсобницы в магазине, но через два месяца ушла оттуда. Она слонялась по пляжу Лютри, пила кока-колу и курила сигареты на террасе «Отель де Риваж». Там-то Жан Кальме и увидел ее, смешливую, соблазнительную, без гроша в кармане, – и они начали встречаться. Каждый день того длинного летнего месяца они ходили вместе на пляж, плавали, брали напрокат лодку, гребли целыми часами, уплывая чуть ли не за горизонт и спокойно возвращаясь к причалу. Лилиана смеялась, загорала, расцветала. Жан Кальме не осмеливался коснуться ее груди; торопливо чмокнув ее у двери, он уходил и с нарастающим нетерпением ждал завтрашней встречи. А Лилиана по-прежнему нуждалась в деньгах. В конце лета ее родители потребовали, чтобы она вернулась в магазин либо шла работать на газовый завод. Жан Кальме не хотел расставаться с ней, и ему пришла в голову одна мысль. Отец постоянно жаловался на одолевшую его писанину: заполнение медицинских страховок отнимало массу времени, а старая служанка уже не справлялась со своими обязанностями в приемной. Что, если доктору взять на работу Лилиану? И доктор, в кои-то веки, с удовольствием принял его предложение. 30 августа Лилиана заступила на службу в «Тополях».

И сразу же все круто изменилось. Уже на первой неделе работы она отказалась встретиться с Жаном Кальме в четверг, хотя в этот день кабинет был закрыт, и юноша грустно бродил вокруг ее дома, среди куч песка и цемента, рядом с портом, под нещадно палившим солнцем. К семи часам вечера он наконец увидел Лилиану, возвращавшуюся домой, и бросился к ней, но она живо проскочила мимо него в коридор и почти побежала, хотя он кричал ей:

– Лилиана, Лилиана, подожди меня!

Все же она обернулась, и он встретил ее взгляд, печальный и пристыженный. Но это он

осознал много позже, перебирая в памяти все их мимолетные встречи, гримаски, взгляды и умолчания Лилианы. А тогда...

– Лилиана!

В ответ молчание. И эти глаза. Жалость и сожаление во взгляде. Входная дверь осталась распахнутой, и вечернее солнце залило прохладный коридор. Лилиана стоит на ступеньке в волнах безжалостно яркого света, ее грудь колыхается под полотном блузки, загорелые голые ноги блестят... Отвернувшись, она исчезает в тени, и Жан Кальме слышит, как она взбегает по лестнице. Хлопает дверь. Кошмар. Он выходит на жаркую улицу, ничего не видя вокруг – слезы застилают ему глаза, – и бредет берегом озера обратно в «Тополя».

В последующие дни она все так же упорно избегала его. В «Тополях» он сталкивался с ней по утрам на пороге дома или в передней; иногда ее голова внезапно появлялась в одном из окон приемной или кабинета доктора, когда Жан Кальме безуспешно пытался читать, сидя в саду; боязливо взглянув на него, девушка неловко кивала, окно тотчас затворялось, и Лилиана исчезала за поблескивающими стеклами. Так прошел месяц. Месяц отчаяния, месяц сомнений и терзаний. Жан Кальме утратил сон и аппетит. Замечая Лилиану в глубине коридора, он, в свой черед, старался укрыться за поворотом, как будто стыдился собственной неуклюжести, не позволявшей ему смело подойти к ней. Он прятался от Лилианы. Он жестоко страдал. Но страдание это стало еще острее и глубже, когда он наконец узнал мерзкую правду.

Это случилось погожим осенним днем. Близился вечер, прием больных должен был закончиться, а Жану Кальме понадобился словарь, стоявший в кабинете доктора. Спустившись на первый этаж, он осторожно постучал – дважды, как всегда, – в дверь, подождал несколько секунд, затем вошел. Смотровая комната была пуста. Он рассеянно прошел по коридору, толкнул дверь кабинета, и его словно громом ударило: Лилиана с обнаженной грудью прильнула к доктору, который жадно целовал ее в губы. Плечи, торс, голые груди Лилианы матово поблескивали в закатном солнце; она испуганно обернулась, и Жан Кальме впервые увидел соски тяжелых упругих грудей девушки. Доктор дышал хрипло, со свистом. Никто не шевелился. В гробовой тишине пролетело несколько мгновений. Потом Жан Кальме отступил на шаг и прикрыл дверь. У него кружилась голова. Секунда. Две секунды.

– Дерьмо! – взревел доктор за дверью.

Жан Кальме бросился наверх, заперся в своей комнате и рухнул на стул. С тех пор прошло двадцать лет. Ему тогда было девятнадцать, и он должен был перейти на второй семестр филологического факультета. Двадцать лет... а стыд, печаль и чувство унижения до сих пор так и не угасли. Он вспоминал, как недвижно скорчился тогда на стуле, не в силах говорить или плакать. Лилиана... обнаженная, в ослепительном солнечном свете. И его отец, красный, хрипящий, гневный. И он сам, раздавленный душевной болью. Но почему, почему Лилиана так легко уступила этому мерзавцу? Этого он никогда не узнал. Он встретил ее несколько дней спустя и на сей раз не осмелился улизнуть. Они прошли метров сто по берегу озера. Жан Кальме был натянут, как струна. Наконец он спросил:

– Лилиана, ты спала с ним?

До сих пор у него в ушах звучит вульгарный тон ее ответа:

– Ну еще бы, он же меня и распечатал. Когда-нибудь это должно было случиться, верно?

Он любил ее. Ей было семнадцать лет. Ему девятнадцать. И вот теперь она женщина. А он остался девственником, раненным в самое сердце, запуганным и даже не находившим слов, чтобы хоть как-то выразить свое отчаяние. И в то же время он с новым, острым любопытством разглядывал ее – сочный рот с крупными зубами, кудрявая прядь над большими смелыми глазами, бронзовая шея в вырезе блузки, где тяжело колыхалась грудь... За ее спиной, в озере, ослепительно сверкало вечернее солнце, пунцовые облака в золотой кромке

повисли над водой, белые катерки распускали веера пены вдали, у зеленых склонов Савойи. Кто же вершит наши судьбы? Кто торжествует посреди красоты этого мира? Отчего ему суждено испить горький яд тоски в праздничном сиянии этого заката? Лилиана была женщиной, и доктор был ее любовником. Его родной отец. Жан Кальме вонзил ногти в ладони. Его родной отец впивался поцелуем в этот рот. Вдыхал аромат этой шеи. Тискал эти груди с розовыми сосками. Раскидывал эти загорелые ноги. Внедрялся в это лоно. Хозяин взял свое. Поимел. И это продолжалось. И все склонялись перед ним. Все уступали. Он был здесь царь и бог. Он питался их поклонением. И он возжелал эту свежую плоть как естественную дань своему могуществу. Эта девочка принадлежала ему. Она изгибалась в его объятиях. Она стояла в тисках его рук, задыхалась под напором его несокрушимой силы. Он был Отец, он был Хозяин. Он вершил закон! Пятьдесят восемь лет. И семнадцать. А закон. . . Однако Жан Кальме тотчас отбросил мысль о каре за соращение несовершеннолетней: доктор не развращал, не соблазнял эту девушку. Он просто использовал свое право. И кто посмел бы остановить его?! Жан и сам покорялся этой властной силе, стыдясь своей покорности, проклиная ее, но все-таки склоняясь перед могуществом отца. . . Да, чудесный вечер. Зеленая Савойя, небо, отразившееся в расплавленном золоте озера, а здесь, перед ним, Лилиана, которая теперь глядит на него с какой-то непонятной нежностью, как будто все еще возможно, как будто их встречи могут начаться вновь. Как будто сын после отца, в свой черед, мог броситься на эту добычу, на это свежее мясо. Жану Кальме тотчас стало больно от этого мерзкого слова. Мясо. . . Кто мог произносить такие отвратительные вещи? Ну, разумеется, отец, он же помнил, как доктор бесцеремонно ощупывал чужие тела, месил дряблую плоть по утрам, в затхлых тесных квартирках, выйдя из гроыхающего лифта или поднявшись по черной лестнице; а бедняги униженно, слезно молили повелителя дать им пожить еще чуточку. И в этот момент Жана Кальме постигло нечто вроде озарения, догадки, столь же непреложной, как его одиночество: они, пациенты, тоже любили отца. Они его почитали на свой, особый лад. Доктор ведь был щедр. Он целиком посвящал себя больным. Прибегал к ним по первому зову. Вдумчиво изучал симптомы. Боролся за более выгодные медицинские страховки. Помогал организовать похороны. Следовал за гробом усопшего. Произносил речь у могилы. Он нес к их затхлым постелям шум жизни, веселье жизни, все пестрое разнообразие жизни, бурлящей за окнами. И Лилиана тоже сдалась перед этим всепоглощающим обаянием жизненной силы доктора. Куда уж там Жану, этому хилому карлику! Лилиана, с ее нежным и страстным, с ее непонятным естеством. . . Отец-чернорабочий. Мать-чернорабочая. Куча братьев и сестер в одной комнате с нею. И какое будущее ее ждало? Что ей дал бы союз с запуганным студентом-невротиком? Теперь Жан Кальме смотрел на Лилиану с ласковым сочувствием. Они стали братом и сестрой – эта милая, податливая душа и он. Они претерпели одинаковое грязное насилие. Со стороны тирана. Но разве невозможно выплыть на поверхность, вновь найти друг друга, разорвать этот адский круг? Когда-нибудь избавление придет и к ним. Доктор умрет. И обретет свое истинное царствие. *Но царствие мое не в мире сем.* Жан Кальме внезапно испытал незнакомое доселе чувство освобождения, легкости, открытости; гнев его бесследно испарился. Ревновал ли он? Нет, ревностью ему суждено будет упиваться позже, он знал это. А пока он упрятывал ее в глубь памяти, как застарелый страх. Небо из багряного становилось золотисто-пепельным. Озеро сменило цвет расплавленной бронзы на мягкий янтарный. Франция, на другом берегу, принимала красновато-коричневые оттенки осени, палой листвы, беличьей шубки. Из стоков бухты Лютри поднимался тошнотворно-сладковатый и странно умиротворяющий запах рыбы. К берегу подходила лодка. На причале суетились люди. Объявить войну? Девушка с сочным, соблазнительным телом беспокойно заглядывала ему в глаза:

– Послушай, Жан, рано или поздно это должно было. . .

У него не хватило терпения дождаться конца фразы. Отвернувшись, он побежал прочь со всех ног; он мчался по сыпучему гравию дамбы, в сандалиях у него скрипел песок – последнее напоминание об ушедшем лете. Лилиана! Лето! И Жан Кальме бросился, как безумный, в теплый вечерний туман.

Вот о чем он вспоминал, сидя за большим столом с множеством книг и карточек, в самом сердце этой населенной призраками ночи. Он провел рукой по шее: отросшая щетина уже колола пальцы. Как на лице у трупа... Эх ты, Жан Кальме, бедолага! А впрочем, все хорошо. Он встал, тщательно проверил задвижки на дверях и окнах, выключил электричество, почистил зубы, побрился, принял душ и снова подошел к книжным полкам. Открыл томик Бодлера, изданный в «Плеядах», захлопнул его, выпил стакан «Контрексевиля», найдя его безвкусным, как сама жизнь, снова достал Бодлера, полистал его и нашел фотографию студии Надара, где саркастически сжатые губы поэта таили в себе безжалостную насмешку; продекламировал два стиха из «Осенней песни», вздрогнул, погасил лампу, проветрил комнату в темноте и услышал, как две или три машины с грохотом промчались мимо дурацких садов, где дурацкие животные, вроде того ежа, и такие же ничтожные, как он сам, ловили последние частицы кислорода в сыром городском воздухе.

Церемония захоронения праха состоялась в пятницу 20 октября, в середине дня. Осеннее солнце расцвечивало кладбище желтоватыми бликами, и лиловые пучки вереска выглядели на этом фоне грязноватыми пятнами, напоминавшими мазки засохшей крови на кремовых простынях. Жан Кальме встретился с матерью перед крематорием; она стояла в своем черном каракулевом мантио, бледная, поникшая, в окружении его братьев и сестер. Ровно в четыре часа представитель похоронного бюро, с черной шляпой в руке, повел их по центральной аллее, заставленной крестами и вычурными памятниками; на пороге часовни их поджидал служащий крематория, также весь в черном с головы до ног.

Оба они отдали поклон вдове, пожали ей руку и со скорбным видом поздоровались с детьми.

– У вас ниша номер сто пятьдесят семь, – сказал служащий. – Урна установлена сегодня утром. Согласно обычаю, прах был помещен туда в отсутствие семьи. Разумеется, вы можете увидеть ее тотчас же. Благоволите следовать за мной. . .

Маленькая процессия двинулась по кладбищенским аллеям, взобралась по лестнице, обсаженной буксом, свернула, прошла между могилами и кустами и, наконец, очутилась перед колумбарием, чьи решетчатые двери были открыты настежь.

– Прошу вас, входите, мадам, – сказал служащий, указывая своей черной шляпой путь в сводчатом коридоре.

Этьен взял мать под руку, и все вошли в небольшой зал. Дневной свет скупо сочился внутрь сквозь крошечные узкие оконца под сводчатым потолком. Жан Кальме огляделся: все стены были разделены на сотни пронумерованных ниш с трудно определимой глубиной. Одна из них, на высоте человеческого роста, была задернута черной занавесочкой с серебряной каймой; над ней стоял номер 157, и члены семьи указывали ее друг другу, кто взглядом, кто пальцем. Затем установилось молчание, все замерли. Оба служителя встали у стены с означенной нишей. Первый с мягкой скорбью еще раз выразил соболезнования семье от имени похоронного бюро. Затем он вынул из кармана бумагу, прочитал вслух муниципальные правила хранения праха в колумбарии и, сложив листок, отступил на шаг с видом печального смирения.

Теперь настал черед служителя колумбария; подойдя к черному занавесу, он медленным торжественным жестом открыл нишу доктора: взорам присутствующих явилась мраморная урна – великолепная, отполированная, мягко блестящая в полутьме, и все члены маленькой группы смогли прочесть надпись, сделанную прописными буквами из светлой бронзы:

ДОКТОР ПОЛЬ КАЛЬМЕ

1894 – 1972

Жан Кальме вздрогнул. Так вот оно – жилище отца на ближайšie двадцать пять лет. И все эти годы доктор будет смиренно лежать под печальными сводами колумбария. Смирно ли? Урна была наверняка закреплена в нише. Однако служащий, взобравшись на стремянку, взял тяжелую вазу обеими руками, поднес ее к госпоже Кальме и приподнял крышку:

– Посмотрите, мадам. Мы весьма тщательно выполняем свою работу. Прах вашего супруга будет находиться здесь столько, сколько вы пожелаете. В любой момент вы сможете продлить наш договор самым обычным письмом за вашей подписью, отправив его в муниципальное бюро.

Затем он предъявил урну другим членам семьи; одни просто касались ее, другие заглядывали в зияющее отверстие. Жан Кальме с ужасом отшатнулся, когда очередь дошла до него; служитель как-то странно взглянул на него и пошел ставить урну на место.

Наконец они вышли. Снаружи было холодно. Солнце кровавым шаром висело у горизонта, над тысячами багровых могил. Вскоре семейство уже сидело в кафе «Покой», за столом с бутылкой белого вина и чаем, в компании обоих представителей похоронных служб; в кафе было множество людей в трауре, и Жан Кальме пристально наблюдал шумную комедию скорби, которой предавались душой и телом родственники несчастных усопших, только что сброшенных в яму или сожженных в тысячеградусном пламени печи. Он не стал провожать сестер и братьев в «Тополя», куда его мать пригласила детей на ужин. Он ушел, стыдясь того, что покидает родных слишком рано при столь грустных обстоятельствах, но в то же время с величайшим удовольствием шагая в одиночестве по городским улицам.

В этот час шумные группы мальчиков и девочек спускаются с вершины лозаннского холма, где расположены школы и университет, и бегут на вокзал, чтобы разъехаться по всему кантону. «До чего же они красивы!» – думает Жан Кальме, остановившись на улице Бург и глядя на радостно вопящих подростков, загорелых, гибких, сильных. Они спешат на станцию, громко переговариваясь между собой. При виде их юного великолепия у него пресекается дыхание. Но он счастлив созерцанием этой орды: стройные, светловолосые, с пышными гривами или косами, заплетенными, как у кельтов, с глазами цвета ручья, дети мчатся по улицам, галдя и смеясь; груди девушек колышутся под кожаными куртками или длинными кисейными платьями ярких фиолетовых и оранжевых расцветок, и, хотя осень только началась, многие уже надели высокие сапоги, придающие им вид необузданных безжалостных захватчиков. Странное возбуждение охватило Жана Кальме. Всем своим существом он впитывал молодую силу юношей и щедрую податливость девушек. Эти мальчишки, «косившие» под партизан или Клинта Иствуда, эти великолепные сгустки энергии и здоровья, «упакованные» в кожмитовые куртки и сочно-синие «Ливайсы», внушали Жану Кальме горячую симпатию, исцелявшую его от чопорных правил Лютри, от погребальных комедий крематория. Как далеки они были от удушающей атмосферы его семьи! Их пестрое тряпье дерзко противоречило благодушному величию доктора. Что ж, пусть бегут, пусть своевольничают, пусть протестуют, пусть разнесут все вдребезги – и мерзкие семейные устои, и авторитет патриархов, и гнет тиранов, и власть зажавшихся дураков, которые веками парализуют нашу волю. Ярость подступила к горлу Жана Кальме, сотрясла все его тело. Но она тут же сменилась улыбкой: поток молодых людей не иссякал, они шли мимо него сотнями, по трое, по четверо; распахнутые пальто обнажали длинные ноги в потертых джинсах, узкие бедра, тонкие талии, обвешанные латунными и серебряными цепочками.

Они мстили за него, эти юные варвары! Уж им-то не придет в голову дрожать перед отцами или учителями. Особенно поражало Жана Кальме несокрушимое здоровье ребят; он восхищенно любовался их стройными телами, золотистой матовой кожей, ясными глазами. Точно так же его зачаровывали собственные ученики: их красота, их бодрая, веселая звериная энергия на каждом уроке оказывали на него таинственно-благоприятное действие. Они непрерывно двигались. Они сморкались в бумажные платки и швыряли их под парты. Они то и дело прокашливались и беззастенчиво чесались. Они с дикими воплями носились по школьному двору. Они организовывали демонстрации по любому поводу – за мир во Вьетнаме, против израильских рейдов в Иордании, за сексуальную свободу, против Голды Меир и Никсона, в знак протеста против смерти Амилькара Кабрала. Они под проливным дождем распространяли листовки, размноженные на ротаторе, носили по улицам противоатомные лозунги в ледяной холод, скандировали экуменические призывы под снегопадом, а потом сражались в снежки, горстями совали талый снег друг другу в лицо и за шиворот, прибежали в класс и валились на парты, как веселые усталые щенята.

Жан Кальме улыбался, сам того не замечая. Поток молодых людей по-прежнему катился мимо него, золотые и красные огни витрин играли бликами на их волосах и зубах, на пряжках ремней и блестящей мишуре украшений. Жана Кальме переполнял восторг. Всем своим существом он впитывал жаркое тепло, исходившее от этих юношей и девушек. Их кровь словно переливалась в его жилы пьянящим любовным напитком. Он был взбудоражен до предела. Он начал смеяться. Их глаза воспламенили его собственный взгляд. Их дыхание наполнило его легкие. В юношах бурлили, искали выхода жизненные соки. Девушки исходили чудесной влагой. И Жан Кальме упивался, питался, вдохновлялся животворной силой этого буйного племени. Он вспоминал себя в классе, после урока, когда ученики тесной гурьбой собирались

вокруг кафедры, одолевая его вопросами, а потом сопровождали в кафе «Епархия», где вся компания проводила перемены за кофе и рогаликами, среди шума и гвалта; затем ребята вместе с Жаном Кальме возвращались в гимназию, провозжая его до самой учительской, куда он заходил как можно реже, лишь по необходимости, стараясь избегать общества коллег, которых не уважал и рассматривал как надсмотрщиков, состоявших, в свою очередь, под отцовским попечением главного надсмотрщика – директора; он боялся встреч с этим человеком. При виде его Жан Кальме неизменно чувствовал себя виноватым, уличенным преступником. . . Зато мальчишки и девчонки из его класса, беззаботные, жизнерадостные, исцеляли его от тайных страхов, делились своей юной победной силой.

Семь часов.

Долго еще Жан Кальме стоял на этом тротуаре, восторгаясь и мечтая. Поток молодежи мало-помалу редел, оживление сменялось солидной тишиной богатой буржуазной улицы, где вновь царили модные лавки и сверкающие ювелирные витрины. Наконец Жан Кальме очнулся и пошел в «Сити», где съел пиццу, выпил кьянти и спокойно посидел за газетами. В одиночестве? О, нет! Шествие красивых детей все еще грело его душу. А урна была официально, муниципально, законопослушно и надежно укрыта за крепкой решеткой колумбария. Так что, в конечном счете, порядок восторжествовал, и теперь можно привыкать к новой, счастливой и спокойной жизни. Зима обещала быть мягкой и долгой. Жану Кальме представилась лиса или ласка – дикий, непокорный зверек в глубине своей теплой норы, под толстым покровом снега, что падает и падает на дома и деревья. В долинах задымили печные трубы. Небо над холмами стало черным, по заледенелой улице промчалась машина. . . Зима, далекая от людских терзаний, шла своим ходом. Однако, позвольте, какая зима? Сейчас всего лишь октябрь, осенний день, который навсегда избавил Жана Кальме от мучительного плена. Он вслушивался в голоса этой медной осени с ее мокрыми рытвинами, с ее гниющей листвой и готовностью исчезнуть в великом белом покое. Скоро зима оголит и разорит здешний край, где полчища озябших птиц, филины и совы, а также олени, кабаны, барсуки, словом, все выжившие звери стародавних времен, до сих пор обитающие в лесных чащобах, говорили с ним на своем хитроумном языке. На языке райских куц! Жан Кальме явственно слышал, как они роют землю, кто лапами, кто копытами, кто рылом, готовя себе укрытие на зиму. Он видел, как птичьи коготки ухватывают веточки для гнезд, а клювы выдирают шерстинки из спин напуганных мулов. Легкие султаны дымков колыхались над печными трубами, над кронами вековых деревьев.

Каждое утро Жан Кальме колебался в выборе между двумя своими бритвами – электрической и «жиллет». Если он чувствовал себя неважно или нервничал, он пользовался электрической, избавлявшей от водных процедур, что было дополнительным преимуществом. Зато, чувствуя прилив энергии, он брал «жиллет». Со дня установки урны в колумбарии он решил покончить с этими метаниями и всегда *естественно* пользоваться опасным лезвием. Слишком долго он боялся этой остро заточенной бритвы. «Жиллет» наводила на него робость, и он прятал ее подальше с глаз, в голубой футляр. Однако теперь, приняв решение и стойко держась его, нужно было действовать крайне осторожно: бритва по-прежнему обладала явно опасными свойствами и сохранила, как ни прискорбно, способность оживлять воспоминания. При виде этого предмета, при малейшем контакте с ним тотчас возникали призраки былого, и главный из них сотрясал ванную, квартиру и, что самое печальное, рассудок Жана Кальме своим ужасным разъяренным голосом. В детстве Жан Кальме сотни раз наблюдал за брившимся отцом. Он садился на скамеечку, в двух-трех шагах от доктора, и ему никогда не надоедало следить, как тот намыливает себе лицо уверенными круговыми движениями, превращая его в пышную белую маску. Часто доктор оборачивался и в шутку клал мазок пены на нос Жана Кальме, который старался елико возможно дольше сохранить на коже эту душистую белую нашлепку. Затем следовала процедура правки бритвы с помощью маленького точильного станка, закрепленного в плоской железной коробке; после этого начиналась собственно церемония бритья. И тотчас же доктор устраивал из нее целую драму. Он гримасничал, изображая боль, оттягивал рот в сторону двумя пальцами левой руки, постанывал, подступаясь к подбородку, а если ему случалось обрезать, что бывало довольно часто по причине спешки и возбуждения, он предъявлял окровавленный ватный тампон Жану Кальме и, наклонясь к нему, давал потрогать ранку, откуда еще сочилась тоненькая алая струйка, растекавшаяся по смуглой шее причудливыми ручейками. В таких случаях доктор плакал, кричал, задыхался, изображал жгучее страдание, и, хотя эта сцена давно уже стала неотъемлемой частью отношений сына и отца, мальчик всякий раз остро переживал случившееся и весь день ходил под впечатлением трагикомического отчаяния доктора. Достигнув возраста бритья, он попросил родителей купить ему «жиллет», в точности похожий на отцовский. С такой же серебряной ручкой! В таком же голубом футляре! И вот нынче утром он мрачно созерцал эту голубую коробку, где притаился священный предмет. Открыл ее: бритва поблескивала на синем шелке. Серебряная рукоятка слегка потемнела. Взяв ее в левую руку, он повернул правой круглый винтик на конце рукоятки; выдвинулось обоюдоострое лезвие, синевато-стальное, со сверкающим краем, который заблестит еще ярче через несколько минут, когда он отточит его на специальной кожаной пластинке. Жан Кальме приподнял лезвие; оно мерцало в его пальцах, холодное, зловеще-синее, как ночной кошмар. Он поднес его к окну: казалось, эта тонкая стальная полоска живет своей собственной, особой и затаенной жизнью. Страшной, безжалостной жизнью. Жан Кальме глядел на лезвие еще несколько секунд, затем тщательно наточил его и благоговейно вставил на место, в бритву.

Суббота, 21 октября: последние утренние занятия перед осенними каникулами. Конец октября обещал быть погожим. Значит, его ждут прогулки, пейзажи, мечтательное забытие на затерянных тропинках. Жан Кальме решил часто подниматься в Жора, в его леса и на альпийские луга. Там он будет читать и делать выписки из книг, готовясь к предстоящим занятиям. Он спокойно побрился, вытер лезвие, уложил бритву в голубую коробочку; память встрепенулась и выдала ему явственный образ отца.

Солнце сияло всюду, воздух был чист и прохладен, деревья в парке пылали на голубом заднике неба. Жан Кальме любил эти утренние часы. Город был тщательно прибран. Полчи-

ща воробьев шумно атаковали тротуары; неумолчный птичий щебет ворвался в его машину с опущенным стеклом, стоявшую у светофора, как веселое детское обещание. За собором золотились кроны дубов в роще Совабелена, дымки местных заводиков вертикально тянулись к шелковистому небосводу, совсем как на гравюрах прошлого века с пейзажами Лозанны в затейливых рамочках, какие продаются в антикварных лавках Ситэ. Группа развеселых жандармов вывалилась из казармы и с гоготом расселась по двум грузовикам. Однажды, рано утром, рабочие археологической службы разложили у подножия соборной башни, рядом со вскрытыми могилами, скелеты монахов-бургундов; фотографы с озабоченными минами принялись расставлять треножки и измерять расстояние до «объекта» под любопытными взглядами прохожих. Жан Кальме долго рассматривал оскал черепов, их пустые глазницы, зубы, которые студентка-практикантка очищала от песка осторожными движениями тоненькой кисточки. Ему объяснили, что захоронения относятся к началу средневековья: одно кладбище располагалось на вершине холма, и церковь построена прямо на могилах, второе – монастырское – на северо-восточном склоне; именно его сейчас раскапывали и фотографировали. Жан Кальме с каким-то тайным страхом нагнулся над скелетами: гляди-ка, совсем целенькие, и еще этот жуткий насмешливый оскал!.. Одна из его учениц сунула цветок герани в зияющий рот мертвеца. На мгновение белокурые косы маленькой бургундки коснулись останков святого, вернувшегося из небытия.

Жан Кальме поставил машину во дворе гимназии. На каменных скамьях стайками сидели мальчишки и девчонки. Раздался звонок. Жан Кальме шел по лестнице вместе со своим коллегой, преподавателем французского языка Франсуа Клерком. Он любил Франсуа Клерка за его независимый нрав, за то, что тот пишет и публикует стихи. На последней ступеньке Франсуа остановился и сказал:

– Хочешь, прогуляемся на будущей неделе? Можно съездить на твоей машине в Бруа, посидеть где-нибудь в кафе. Что ты об этом думаешь?

Спокойная, веселая улыбка Франсуа Клерка, прямой взгляд его серых глаз говорили: «Признайся, последнее время ты не в своей тарелке, такая прогулка будет тебе полезна, да и мне тоже». Они договорились созвониться, прошли бок о бок еще часть коридора, по которому теперь мчались опоздавшие ученики, и, обменявшись рукопожатием, расстались. Жан Кальме вошел в свой класс.

Они ехали в Бруа окольными дорогами, и Жана Кальме в который уже раз потрясла красота местной природы. Черные свечи елей высились среди рыжего великолепия дубов и осин. Луга розовели под бледным утренним солнцем. Стада кротких грузных коров неспешно передвигались по пастбищам, тихонько позвякивая боталами, как в детских стихах. Между холмами неожиданно возникали деревушки – острые шпили колоколен, приземистые шале под красными черепичными крышами, фермы, похожие на укрепленные замки; на дороге то и дело встречались тракторы с прицепами, везущие свеклу и картофель; туго набитые мешки стояли рядками, точно монахи на помосте. Водитель приветливо поднимал руку, ребятишки в передничках махали, кто косынкой, кто фуражкой. Тьерран, Молонден, Комбремон. . . Местность становилась все более холмистой и таинственной: дорога теперь шла через пустынные зеленые ущелья, густо заросшие темными елями, над которыми метались стаи дроздов. Жан Кальме любил такие безлюдные, овейные легендой места, где ночами под оранжевой луной бегают заколдованные лисы. Он вел машину не торопясь; Франсуа и сам он, точно сговорившись, хранили молчание. Их зачаровал этот осенний пейзаж – трава, усеянная цветочками бессмертника и жемчужной росой, легкое марево, суетливые птицы, огненно-красная стена кустов, дорога, петляющая по колючему лесу, дымные костры на пригорках, где дорожные рабочие стоя пили пиво и по очереди со смехом потягивали одну сигарету.

Теперь машина спускалась к Бруа; река уже поблескивала за плакучими ивами, посреди широкой зеленой равнины. Горизонт скрывался за мерцающей дымкой тумана. Вода ходила серебристой рябью между камышами и поникшими косами ив; окружающий пейзаж лучился несмелой прохладной прелестью, которая опьяняла, возвышала душу Жана Кальме. Он наслаждался созерцанием дороги, реки и леса, укрытых флером тумана. Поставив машину под тополем, друзья подошли к берегу и сели. Полдень. Колокола ближайшей деревни зазвонили на все голоса. Жану Кальме представилась пляска медных языков на башнях, тесные булыжные площади перед каждой церковью, стрельчатые своды, едва различимые в полумраке, паперть, где умывается или мирно спит полосатая кошка.

Франсуа растянулся на низкой траве и закрыл глаза. Жан Кальме разглядывал его тонкое лицо с темной бородкой, обрамлявшей рот; оно постепенно принимало умиротворенное выражение покоя. В свою очередь он улегся на пригорке и сразу почувствовал спиной холод от земли; сухая жесткая трава царапала ему шею. Франсуа закурил. Он напевал какую-то мелодию. Жан Кальме тоже принялся насвистывать песенку; солнце растопило туман, и в голубом небе встали ослепительные склоны Фрибурга. Прикрыв на минуту глаза, Жан Кальме вслушивался в журчание вод Бруа. Этот веселый, звонкий голос реки то и дело прерывался, как будто вода замедляла свой бег и, отдохнув, снова торопилась вдаль, ласково омывая по пути травянистый берег, тихо бормоча что-то свое в ямах, промоинах и неровностях мокрой земли. Жан Кальме любил эту воду, как сестру: она текла в нем самом, она пересекала его, словно этот луг, уносила вдаль, к лесистым холмам, к пастбищам, к немецким городкам, к Рейну. . . Франсуа Клерк встрепнулся, сел, и друзья побеседовали еще с четверть часа на солнышке. Потом они проехали вдоль Бруа к Люсану и там зашли пообедать в кафе «Железнодорожное» – длинный, странно изогнутый зал, где посетителей обслуживала молодая, соблазнительного вида хозяйка, а вина разносила ее помощница, горластая француженка. За столиками сидели в основном клиенты-одиночки – коммивояжеры, вокзальные служащие в синих спецовках; рядом с баром расположилась шумная компания игроков в карты. Француженка величественно фланировала между столами, огрызаясь на посетителей и громко хохоча. Жан Кальме ел спокойно и со вкусом; вино было хорошее, жаркое благоухало тимьяном и лавровым листом, а веселая застольная беседа друзей придавала трапезе дополнительное

очарование. Франсуа рассказывал глупую историю, приключившуюся недавно с одним из их коллег, который начал писать письма двум своим ученицам, неразлучным подружкам весьма игривого нрава; сначала его послания были вполне невинны, затем в них появились нескромные намеки и стишки, от раза к разу все более бесстыдные. Далее последовало несколько интимных свиданий за ужином, куда девчонки являлись весьма легко одетыми; в конце концов они стали хвастаться своими подвигами. Одноклассники, не любившие этого учителя, возмутились. Франсуа рассказал о расследовании, проведенном директором, и реакции учителя, получившего жестокий разнос. Один из его стишков ходил по рукам в гимназии; Франсуа с хохотом продекламировал его:

Не будьте жестокой, блондинка,
Не будьте коварной, брюнетка!..

Обе ученицы тоже смеялись над незадачливым ухажером. Однако директора эта история отнюдь не развеселила. Он затеял целое следствие, набросился на учителя с угрозами.

– Парень просто спятил со страху, – рассказывал Франсуа Клерк. – Он начал оправдываться, совсем заврался и вертелся, как уж на сковородке. Этот скандал случился на прошлой неделе. Вот увидишь, после каникул вся гимназия будет в курсе. Жалко мне этого дурака Верре. Фашист несчастный! С такой-то рожей бегать за девчонками!..

Верре и впрямь выглядел необычно: массивная, словно выросшая в плечи голова придавала ему вид огромной сплюсненной жабы; серо-зеленые рубашки, в которых он щеголял, усиливали это сходство. Правда, его топорное лицо украшали большие печальные глаза, трогавшие сердце Жана Кальме. Говорили, будто Верре когда-то выгнали из интерната за педерастию. Неужто это правда? О нем было известно только, что он женат на какой-то то ли австриячке, то ли немке, много его моложе. В своем шкафу в учительской он повесил вырезанную из «Штерна» фотографию Гудрун Эсслин, безжалостной террористки и любовницы Баадера. Жесткое чувственное лицо под каской белокурых волос. Она занималась поджогами, «мочила» противников, «брала» банки. Разумеется, дочь пастора. Верре целую зиму был ее учителем в одном из лицеев Штутгарта. Ей было тогда семнадцать лет. Засим последовали дебоши, преступления, банда Баадера, взрывы гранат, шумная кампания в газетах. . .

Она ушла из его жизни. А Верре стал жить дальше с этой странной смесью гордыни и униженности, со своей жабьей физиономией и кургузыми брюками, своими патетическими вздохами и скорбными глазами; единственной его утехой были короткие набегивания в «Епархию», где он сидел за рюмкой кирша, пытаясь развеять тоску и мечтая. . . о чем? Или о ком? О мокрушнице из группы Баадера? О юной пасторской дочке из Штутгарта, которую заставлял декламировать Ламартина? О мальчиках из ЛФВ*, с которыми уже не надеялся встретиться на равнинах Померании? О коротких штанишках и пижамках в дортуаре интерната? О двух смазливых кошечках, которые завлекли его, а потом, после истории с ужинами, бросили на произвол судьбы? Наверняка обо всем этом вместе, медленно проворачивая в голове мысли, как смакует горечь ностальгии; не эта ли горечь заставляла его ронять широколобую голову на красную скатерть? Он боготворил все немецкое. Жан Кальме часто беседовал с ним о поэзии, и Верре со странным воодушевлением цитировал то Шиллера, то Гейне, то Клейста, то Юнгера. Однажды, встретившись довольно поздно вечером, они зашли в прокуренное кафе выпить пива, и Верре при виде совсем молоденькой девчонки и кавалера, который тащил ее за руку сквозь толпу, с сияющими глазами продекламировал Гете:

*Лига французских волонтеров.

Du liebes Kind, komm, geh ink mir;
Gar schone Spiele spiel' ich mit dir... *

Но тотчас же его лицо погасло, омрачилось тяжелой печалью, и Жан Кальме сочувственно, без обычного стеснения, коснулся квадратной руки своего коллеги.

... – Ты думаешь, он выдержит все это? – спросил Франсуа Клерк, отвлекая Жана от размышлений. – Он же совсем чокнутый.

– Мне кажется, он сам от этого страдает, – отвечал Жан Кальме, вспоминая скорбный взгляд Верре. – Этот тип обладает утонченной душой и очень одинок. Ему просто не повезло. Никто не хочет протянуть ему руку помощи. Все его только пинают и бранят. На самом деле нам с тобой следовало бы ободрить его, когда начнутся занятия, встречаться с ним время от времени, защищать.

И он твердо решил, что, независимо от поведения Франсуа, будет регулярно видеться с Верре начиная с будущей недели. Но воспоминание о злополучном коллеге по-прежнему возбуждало в нем угрызания совести. Он слегка захмелел. Встав и извинившись, он отправился в туалет.

Он неторопливо прошел по сырому коридору, довольный тем, что хоть на минуту остался один. На стенах с отбитым кафелем проступала плесень. И именно у двери туалета он внезапно остановился как вкопанный, с ужасом вытаращив глаза: в мертвенном свете коридора его подстерегало кошмарное, разрывающее душу видение – заржавленная стойка для зонтиков, где стоял один-единственный предмет, нелепый, бесполезный, нацелившийся на Жана Кальме своим крючковатым носом. Ну конечно, нелепый и бесполезный, кому он нужен?! Просто жалкая, ни на что не годная деревяшка – выбросить бы ее на помойку, или сжечь, или задвинуть куда подальше вместе с этой ржавой стойкой, о которую, верно, все проходящие спотыкались и били ноги. Но нет, эта мерзость стояла здесь, наверное, уже долгие годы, и Жан Кальме не мог отвести взгляд от ее змеиных изгибов. То была трость из узловатой неровной ветви орешника, длиной примерно метр двадцать; она словно грозила ему своей массивной ручкой с утолщением на конце, похожим то ли на разбухшую почку, то ли на головку мужского члена, и Жан Кальме смотрел на нее, не в силах шевельнуться. Почему он думал при этом о члене своего отца? Какой демон витал в этом коридоре, над этой стойкой и туалетом со сливом, журчавшим так зловеще, что у него мороз шел по коже; какого злого духа вызвал он из-за этих ободранных стен, если при виде трости его мгновенно охватил тошнотворный страх, словно застигнутого с поличным преступника? Член отца тянулся к нему через заржавленный обруч стойки своей набухшей сероватой головкой с бугристым изогнутым продолжением; старость и долгая служба лишь закалили и отполировали его, отнюдь не лишив угрожающей силы. Жан Кальме пытался успокоиться, переведя взгляд на низ трости, обутой в грязно-черный резиновый наконечник, едва видный в основании стойки. Но тщетно – глаза его невольно возвращались к ужасной вздутой поблескивающей головке, словно таившей в себе дьявольскую усмешку небытия. Член отца, позабытый в коридоре захолустного кафе в Бруа!.. Надо же было ему, Жану Кальме, очутиться именно здесь и именно в момент душевной расслабленности и благодушия; надо же было пойти в туалет и наткнуться на эту проклятую стойку, где доктор подстерегал его с жуткой саркастической гримасой призрака! И

*

Дитя, оглянися, младенец, ко мне;
Веселого много в моей стороне...
(Пер. с нем. В. А. Жуковского)

теперь он стоял, задыхаясь, парализованный страхом и воспоминаниями, перед этим непристойно воздетым жезлом. Протянув дрожащую руку, Жан Кальме заставил себя коснуться твердого дерева, провел пальцами по узлам и изгибам трости, вернулся к торчащему концу. «Что это за дьявольский заговор?» – спрашивал он себя. Ужасаясь, стыдясь своего жеста, он все-таки продолжал ощупывать палку. И вдруг, словно ему в ладонь ударил электрический разряд, отдернул руку и заперся в кабинке туалета. Через несколько минут он вернулся к Франсуа Клерку, который мирно почитывал местную газету.

Той ночью, лежа пластом в постели, весь в поту, Жан Кальме мучился тяжелым сновидением: зверь, похожий на быка, свирепо кидался со склона травянистого холма на все, что двигалось вокруг. Да, это был африканский буйвол; он видел его неясно, но притом почему-то знал, что глаза зверя налиты кровью, острые рога изогнуты, как лира, а туловище странно расплывается в желтый шар, который при каждом наскоке становится твердым и наносит страшный удар жертве. Жан Кальме, в свой черед, попробовал взобраться на вершину холма. И всякий раз рогатый шар обрушивался на него и безжалостно отшвыривал прочь. Жан не кричал. Но тут к нему подбиралась стойка для зонтиков и, обхватив шею, душила в своем заржавленном кольце. . . Он проснулся, словно от толчка: его отец сидел в кресле напротив кровати!.. Но нет, это была всего лишь грудa папок, а сверху стояла фотография времен прошлых каникул. Вскочив было в паническом ужасе, он тут же пришел в себя и снова лег в постель, теперь уже без всякого удовольствия. И тут ему вспомнилось прохладное благолепие колумбария Монтуа. Тотчас же в ушах Жана Кальме зазвучало сладкое голубиное воркование. Легкий трепет перьев. Птичьи ласки в теплых золотистых ячейках. Пушистые объятия, трепетные ухаживания, притворное сопротивление, наскоки, бегство, атаки, увертки, смешные прыжки, шелковистый шорох крыльев, мелькание кораллово-розовых лапок, удары острых серебристых клювов, нежные поцелуи, ссоры и примирения. Любовные игры. . .

Склеп просыпался. Мертвецы разом восставали из пепла. Среди них были мягкие, добрые, нежные, как сладострастные голуби его ночных сновидений. Были и другие – жестокие. Надсмотрщики. Изобличители. Были и просто белые неясные формы, поднявшиеся из своих урн наподобие гигантских солитеров, и Жану Кальме хотелось выть от жалости при виде этих фосфоресцирующих смутных призраков, увенчанных до ужаса знакомыми головами.

Затем он снова погрузился в сон. На сей раз он увидел дымок, курившийся над очагом в центре озаренного солнцем мавзолея с небесно-голубым куполом. Он шел по какой-то равнине со множеством рек, и его взгляду то и дело открывались школьные дворы, полные подростков, не знающих усталости. Потом вдруг он опять встретился с разъяренным быком. Тот, как всегда в его снах, стоял на вершине холма, под которым разверзалась не то трещина, не то пропасть; его гигантская масса внезапно обрушивалась на Жана Кальме, который знал, что должен перенести это испытание с юмором и стойкостью, внушенной богами. Богами, которые бдительно следят за счастьем маленьких людей, от черного берега их злополучия до белого берега, где нестерпимо ярко горит остро отточенное лезвие.

II ДУХ ДИОНИСА

Зачем приняли меня колена?
зачем было мне сосать сосцы?
Книга Иова, 3, 12

Наступило Рождество.

Жан Кальме нашел себе убежище.

Он укрылся в размеренной жизни своей семьи, в ее прочном укладе, в странно теплом Лютри, в беспокойной любви матери, в музыке, трапезах, колокольном перезвоне. В доме, по давней традиции, нарядили елку. Были сестры и братья, и возбужденные крикливые племянники, и меланхолические радости подарков, и глаза, блестящие от слез в мерцании рождественских свечей. Был пустой стул отца. Были высокие часы в гробоподобном футляре за спиною призрака.

Наступило 31 декабря.

Жан Кальме лег в постель.

На следующее утро он прогуливался по берегу озера. Его слегка мутило от тлетворной мягкости земли, разогретой зимним, но ярким солнцем. В садах цвела мимоза. Сквозь теплые, слегка запотевшие стекла оранжерей виднелись гвоздики, бегонии, цикламены – красноватые пятна, пугающе похожие на окровавленные комки ваты, которую прижимали к порезу. Пальмы гордо высились под синими небесами, среди елей и оголенных платанов. По аллеям неспешно прохаживались гуляющие. На набережной Лютри посетители кафе уже пили аперитивы на открытых террасах, и женщины призывно улыбались пухлыми, сочными губами, какие бывают у них по весне.

Проведя несколько дней в «Тополях», у матери, Жан Кальме вернулся пешком в Лозанну. По дороге он размышлял о старом доме, укрытом под сенью деревьев. Какая тишь царила сегодня в просторной, залитой солнцем комнате, где его мать теперь одиноко проводит дни между часами в высоком футляре и озером, мерцающим у савойского берега. Его пронзила нежная жалость к маленькой серой женщине, убитой горем и растерянной, которая неслышно, как мышка, семенила от кухни к своему креслу, осторожно наливала себе чай и грызла соленую соломку, извиняясь за звук: ох уж эта новая искусственная челюсть, никак к ней не приспособиться!

Он никогда доселе не знал ее, эту женщину. И до чего же ему теперь было жаль ее! Она ведь также – нет, куда больше, чем другие! – страдала от гнета тирана, который сломал, изничтожил ее. Она молчала об этом. Но ее скорбная улыбка о многом говорила. Ни разу в жизни она не пожаловалась на доктора, который ушел, бросив ее опустошенной, как город после вражеского набега, И теперь у нее остались только альбомы со старыми фотографиями. Она не плакала. Просто сидела в своем кресле, с альбомом на коленях, устремив застывший взгляд в окно, где ей виделось не настоящее, а призраки, населявшие ее прошлое. Жалкая судьба одинокой самаритянки. Сестра милосердия, забытая в дальнем углу покинутого госпиталя. В эту минуту на Лютри спускались сумерки, и она, верно, сидела на своем обычном месте, перед остывшим чайником, под бьющими в глаза лучами закатного солнца, слепо глядя перед собой. Мадам Жанна Эме Кальме, урожденная Росье. Она родилась в деревенском захолустье у подножия Юра, служила на фермах, затем, покинув луга и коровники, стала служить его отцу. Жанна, мои очки! Жанна, мой саквояж! Моя трость! Мой кофе! Эти чертovy дети – ты даже не способна их воспитать как следует! Это чертова стряпня – не надейся, что я приду обедать. Но жди меня. Ты для того и существуешь, чтобы ждать меня, Жанна. Твои руки мешали суп, жарили мясо, открывали бутылку вина, а я не приду. Куда захочу, туда и отправлюсь. Здесь я хозяин. Здесь я вскрываю животы, копаюсь в кишках, режу и зашиваю. Здесь я угрожаю, утешаю, врачую, подаю надежду, бодрствую, чтобы преградить доступ смерти. И пока я здесь, она не осмелится войти, бедняга! Стоит мне появиться, как она отступает, уползает в свою нору! А я режу и шиваю, щупаю и вправляю, вырываю и

приставляю, я неутомимый солдат, наемник, легионер здоровья; эй ты, старуха с косою, убираться прочь, я тебя не боюсь! А вы, нытики злосчастные, оставьте меня в покое с вашими гонорарами и жалобными взглядами, тут я командую, я распоряжаюсь, я воюю со смертью, а ваше дело – ждать меня и слушаться беспрекословно. Жанна собирает со стола нетронутые блюда и в одиночестве ложится в широкую постель. Жанна проводит лето в ожидании доктора, который воюет со смертью Бог знает где. Дети возвращаются домой и снова уезжают, лето кончается, уступая место мокрой осени, озеро пахнет гнилой рыбой в преддверии зимы, Жанна готовится праздновать Рождество и Новый год, рассматривает старинные фотографии. Жанна Кальме. Моя мать. Я был ее любимчиком, ее «младшеньким», ее утешением и радостью. Ее зеленой травкой. Глотком свежего воздуха. Но вот пришел мой черед, и я тоже сбежал из «Тополей». Надо будет почаще навещать туда. Ее утешение. Ее радость. Я переживу ее. Она умрет в спальне, на широкой супружеской кровати – крошечная, затерявшаяся среди подушек, белоснежных подушек из ее песенки. Прощай, мама, прощай, юная нежная девушка из заснеженной горной деревушки! Тебя сожгут. И будут все те же цветы, все те же венки, что в сентябре месяце. И те же сочувственно-скорбные лица. И та же закуска в кафе «Покой» – белое вино, чай, булочки, а неделю спустя, в один прекрасный вечер, твои дети соберутся в «Тополях» за столом, вокруг каталога похоронного бюро, чтобы выбрать тебе урну. Прощай же, мама, кроткая обительница суровых гор Юра; ты дрожала, идя в церковь, и небо рухнуло тебе на голову. . .

В январе начались занятия.

И педагогические конференции, и стопки тетрадей на проверку. Скучная школьная рутина. Прошел месяц. Ничего нового. Затем наступило 21 февраля, и Жан Кальме встретил Кошечку.

И он понял, что на него снизошел дух Диониса.

Было пять часов пополудни.

С порога «Епархии» Жан Кальме увидел Кошечку, сидевшую на его любимом месте. Он шагнул было к ней, словно собирался подсесть к ее столику в уютном уголке, у окна, где всегда такой мягкий приятный свет. Кошечка! Она не смотрела на него. Но он тотчас нарек ее этим именем; так повелела неведомая магическая сила, мгновенно погрузившая его в таинственное и безумное ликование дионисийских мистерий. На незнакомке была желто-белая шубка кошачьего меха; распахнутый ворот позволял видеть путаницу ожерелий на груди. Ее волосы сияли под желто-белой вязаной шапочкой. Золотые волосы, бронзовые волосы. Она вязала что-то из белой шерсти, склонившись над своей работой, и несколько колец, которые она сняла, чтобы они не мешали, посверкивали камешками и темным серебром на красной скатерти, рядом с недопитой чашкой молока.

Он никогда еще не видел ее. Может быть, и не увидит больше. Он сел за ближайший столик, как раз напротив. С бьющимся сердцем, с ликованием в душе, он пристально глядел на нее, чувствуя, как взмывает в нем мощный фонтан восторга, как разверзаются неведомые гулкие пропасти, куда со звонким грохотом летят древние скалы. Горный ветер свистел в кронах сосен, морской ветер сотрясал фиговые деревья. Сорвав с себя шляпу, он стоял с непокрытой головой, свободно отдавшись на волю этих буйных стихий; хмельные соки бродили в его крови, тело содрогалось от новых незнакомых чувств, звездные небеса, огненные вулканы, прозрачные источники, оглушительные грозы, гонимые страхом стада, прыжки горных коз, одурманенных запахом альпийских цветов, – все эти образы завладели им, переполнили его, повергнув в волшебный, восхитительный транс.

Кошечка подняла глаза. Радость и ожог! Она обратила к нему взгляд: два изумруда в медной оправе ресниц, ярко сиявших в предвечернем свете.

Она продолжала смотреть на него; к собственному ужасу, он первый обратился к ней:

– Как вы красиво вяжете! Так мягко...

Кошечка ничуть не удивилась. Ее улыбка и ответ были так же непосредственны, как чудесно само появление.

– Это же вязание, – сказала она. И продолжала улыбаться.

Жан Кальме заметил, что при этом она по-кошачьи облизывала язычком нижнюю губу и та блестела.

– Какой свет! – сказал он и потянулся, с восторгом прислушиваясь к звучащей внутри победной симфонии барабанов и фанфар, к треску огня фейерверка, предвещавших великое празднество в честь бога Диониса.

– Вам так нравится это желтое небо? – спросила Кошечка, отложив вязание на стол и надевая кольца.

– Это желтое небо, – подхватил Жан Кальме, – и желтое и розовое. Словно из агата... А тепло-то как – совсем по-весеннему!

И тотчас ему представилась весна: лопаются почки, соки бегут по древесным стволам, облепленным пчелами, в густых зарослях прячутся оленята. А чудо все длилось. Кошечка глядела на него так внимательно, словно хотела запечатлеть в памяти его черты, но это вовсе не смущало Жана Кальме, – напротив, ему было необычайно приятно сидеть под ее

золотисто-зеленым взглядом, в котором светился спокойный неторопливый интерес. Он ликовал. Красные скатерти раскаленными углями горели вдоль стен. Столбы солнечного света, пронизанные дымом сигарет, дотягивались до самой стойки, рассеивая полумрак. Глухой гул, исполненный и нежности и ярости, убаюкивал сердца. Какую силу излучала эта юная девушка? Какой кудесник наделил этой магической властью чаровницу, сидевшую у окна, в том самом кафе, где Жан Кальме ежедневно проводил несколько часов? Солнце теперь нацелило багровые лучи на крыши Мерсери; собор походил на гигантский, воздетый к небу факел. Кошечка допила молоко, и розовый язычок еще раз прошелся по пухлым губкам.

– Вы часто бываете в этом кафе? – спросила она.

Он ждал этого вопроса, как будто сама его банальность была залогом внезапно возникшего между ними доверия.

– Каждый день, – ответил Жан Кальме. – Но я никогда раньше не видел вас здесь.

– Я приехала из Монтрё. Сегодня сняла комнату в этом квартале.

Жану Кальме очень хотелось спросить ее, почему она покинула Монтрё и что собирается делать в Лозанне. Но он знал, что все это, рано или поздно, будет ему рассказано. Очарование не прекращалось: Монтрё, с его уединенными дворцами, апельсиновыми и фиговыми деревьями в садах, на склонах сумрачных лесистых холмов; Монтрё, с его «роллс-ройсами» и сверкающими дамскими тюрбанами у подножия зубчатых альпийских гор; Монтрё, город, который непрерывные чудеса превращали то в сюрреалистическое кладбище, то в гляцевую англо-балканскую открытку, то в пышную театральную декорацию, то в рекламу Восточного экспресса, то в пещеру Али-Бабы, только со швейцарским и светским уклоном! И она, Кошечка, вышла из этого котла, велением горных и водяных духов, которые сперва оживили, а теперь опекали ее, как свое любимое дитя!

Кошечка надела все свои кольца – афганские, арабские. Она побросала вязание и клубки шерсти в корзиночку, скользнула по скамье вдоль стола и встала.

– Вы идете? – спросила она просто.

Жан Кальме бросил деньги на красную скатерть и вышел следом за девушкой. Он открыл перед нею дверь, и заходящее солнце охватило их своим багровым пламенем. Все пылало вокруг: мост Бессьер, ведущий в нижний город, все окна улицы Бург. Зубцы квадратной башни кафедрального собора – грузного мрачного силуэта на фоне закатного неба – рдели, точно раскаленные угли, точно руины сгоревшего замка еретиков; собор возносил над их головами свои огненные шпили.

Они пошли в сторону Ситэ. Жан Кальме восторженно глядел на маленькую круглую корзинку Кошечки. Она беззаботно размахивала ею на ходу, этой детской корзиночкой, сокровищем Красной Шапочки, мечтательно бредущей по лесу с материнским гостинцем для одинокой бабушки; девочка в своих маленьких башмачках бежит мимо вековых деревьев, а вечер близится, а тьма подступает все ближе, а волк уже недалеко. И Кошечка тоже понесет свой пирожок и горшочек масла в лесную чащу. Свой подарок, свое сокровище... А может, она его уже отдала?

Девушка остановилась у одного из домов в Нижнем Ситэ.

– Это здесь, – сказала она, и он пошел за ней по узкому коридору, пахнущему ремонтом. Лестничная лампочка отщелкивала свои краткие минуты.

Девушка остановилась на площадке второго этажа.

– Это здесь, – повторила она, и он вошел за ней в просторную комнату, озаренную багровым светом заката.

Кровать, стул. У стены раскрытый чемодан, битком набитый вещами и бумагами. Колокола собора начали отзванивать шесть часов. Всего час назад Жан Кальме впервые увидел

Кошечку, и вот она уже возится в кухне, а он сидит здесь, слушая, как она звякает чашками, наливает воду в кастрюльку.

– Не скушайте там! – крикнула она ему. – Поглядите в окно, как красиво!

Это и впрямь было красиво – двор гимназии, широкая эспланада, засаженная вязами, а за ними старинный, в бернском стиле, дом с башенкой и высокой двускатной крышей под коричневой черепицей. В окнах директора и секретариата еще горел свет. Жан Кальме отвернулся и сел на единственный стул. Кошечка внесла в комнату маленький кофейник и две крошечные чашечки на подносе. Она еще не сняла ни своей пуховой шапочки, ни желто-белой шубки.

– А ну-ка встаньте! – весело приказала она. – Вы заняли единственный стул в этом доме!

Она поставила кофейник и поднос на стул, а Жан Кальме уселся на кровать. Это было широкое ложе с золотистым покрывалом. Он наслаждался его мягкостью. Кошечка сняла шубку и повесила ее на оконный шпингалет. Она налила кофе в две кукольные чашечки и села рядом с Жаном Кальме.

– Я рада, что это именно вы, – сказала она. – Я поселилась здесь только сегодня днем, и мне нужен был гость, чтобы отпраздновать новоселье. Хорошо, что это вы. За ваше здоровье!

– За ваше здоровье! – ответил Жан Кальме и окинул восторженным взглядом залитую красным светом комнату; так юнга из страны гэлов смотрел бы на сокровища в трюме галиона, прибывшего из Индии.

Пустая комната горела последними рубиновыми и медными сполохами заката. Они выпили кофе. Стемнело. Жан Кальме, убаюканный счастливой беззаботной тишиной, не испытывал никакого желания говорить. Кошечка не зажигала свою единственную лампу. Когда он убедился, что ни тайна, ни счастье не развеются, он покинул ее; в дверях она подошла к нему вплотную, опустив руки, с немым вопросом в глазах.

– Да, – сказал Жан Кальме. – Я вернусь.

Она подошла еще ближе, и он вдохнул ее запах – смесь корицы, ночной свежести, цветочной пыльцы и, совсем чуточку, пота; ее длинные волосы защекотали его шею и щеку. Тогда он нагнулся и, точно перед ним была маленькая испуганная девочка, запечатлел на ее лбу короткий поцелуй, заставивший вздрогнуть их обоих.

В последующие дни красная комната, где стояла лишь золотистая кровать, пополнилась целой кучей предметов. Первым был желтый камень величиной с кулак, который хозяйка решила держать на стуле возле своего ложа. Затем подушка украсилась лебедиными перьями. Следом возник маленький шаткий комодик, а на нем дубовые листья, перочинный ножик с пятью лезвиями, почтовые открытки начала века, часы с цепочкой и разбитым стеклом, старая жестянка из-под чая, с картинкой на боку, изображавшей замок, озеро и вересковую пустошь. Потом явилось кресло-качалка черного цвета, низкая скамеечка, а на скамеечке круглая подушка в вязаном чехле с лиловой улиткой – делом рук Кошечки.

– Я обставляюсь! – со смехом говорила она. Но до чего же легка была добыча, которую она приносила из своих походов! Перья и листья точно парили в воздухе. Комодик напоминал кукольную мебель. Пожелтевшие открытки как будто вышли из рук Мелюзины. Желтый булыжник поблескивал таинственно, словно философский камень. Креслице явно приглашало детей в высоких башмачках целый день качаться, сидя на террасе перед большим садом с катальпами и ручейком – зеркалом для нарциссов. Скамеечка ожидала даму с кружевным зонтиком.

– Где ты все это откопала? – спрашивал Жан Кальме.

– Сама не знаю. На рынке. В Армии спасения! Ты бы сходил как-нибудь со мной. У них есть все, что душе угодно. Там работает старушка сержантша, мы с ней знакомы уже целую неделю, и она мне делает скидки, такая милая! Знаешь, она отложила для меня военную шинель – настоящую шинель капрала, с нашивками, с хлястиком, все как полагается! Латунные пуговицы с федеральным крестом – представляешь, какая красота!

Жану Кальме нравилась ее простодушная радость. И то, что она гуляет целыми днями. Он спрашивал:

– Что ты делала сегодня днем?

– Вязала в кафе.

– В каком кафе?

– Да не знаю. Такое... не слишком большое, не слишком маленькое, рядом с площадью Рипонн. Коричневый дом. Поболтала там с одним типом, он был такой грустный и угостил меня томатным соком.

– А потом?

– Прошлась по супермаркету. Посмотрела плакаты.

Именно так оно и было. Она гуляла, мечтала. Останавливалась. Снова шла куда-то. Вернувшись к ней на следующий день после их первой встречи, Жан Кальме стал расспрашивать, чем она занимается, на что живет. Но она не давала прямых ответов. У нее было немного денег, а за комнату якобы платили родственники. Какие родственники? Она отвечала туманно и уклончиво, измышляла некие странные, таинственные семейные связи, бескорыстные отношения, возврат к светлому прошлому, былые существования, островки во времени, странствия в никуда. Все было выдумкой, и все было правдой в ее рассказах. Она словно парила в неведомом счастливом мире, и ее радостный смех по-прежнему очаровывал Жана Кальме. Кто же она? – спрашивал он себя днем, во время работы. Он проводил занятия, чувствуя, как нарастает, кипит в нем нетерпение, и, когда наступал желто-розовый час заката, ему чудилось потрескивание факелов Диониса, кровавые пламенеющие небеса, кипучие потоки, вакханки с развевающимися косами, пахнущие вином и солнцем, звонкие чаны с хмельной влагой, и он снова ощущал жгучее ликование, охватившее его в тот миг, когда он впервые увидел Кошечку.

Ее звали Тереза Дюбуа. Отец умер в горах. Она начала было учиться в Школе изоб-

разительных искусств, но скоро предпочла свободу. По субботам она уезжала в Монтрё и проводила воскресенья с матерью. Тереза. Кошечка. Непреложный закон счастья. Волшебство радости. Так стоило ли разрушать эту радость глупыми вопросами?!

Однажды вечером Жан Кальме застал ее стоящей на кровати – она вешала на стену большой плакат. Взъерошенное дикое существо, смутный мерцающий призрак – то ли кошка, то ли девушка, то ли пантера, – подобравшись, готовился выпрыгнуть из глубины чаши, а может быть, пропасти или какого-то неясного черного сооружения. Стоя на золотистом покрывале, Тереза боролась с плакатом, который упорно свертывался в трубку; ей удалось прикрепить кнопками верхний край, но ноги пантеры то и дело комично взвивались к голове, черная бездна за ее спиной съеживалась, как пресловутая шагреновая кожа, словно какой-то злой волшебник пытался превратить ее в блестящий темный колпак. Однако левая рука Кошечки ловко водворяла на место взбесившийся край, а два тонких пальчика правой цепко хватили кнопку с приподнятого колена. Кнопка с трудом входила в твердую стену, суставы пальцев белели от усилия. Двойная операция. Затем Кошечка отступила на шаг, на два шага, разгладила глянцевую черную поверхность плаката, и ее лицо отразилось в нем рядом с дикой самкой, девушкой-пантерой, вырвавшейся из неволи на свободу.

– Смотри, как красиво! – сказала Кошечка.

– Да, красиво, – ответил Жан Кальме. Он сел в качалку, он был в превосходном расположении духа. Радость и мужество! Маленький подносик, кукольный кофейник, крошечные чашечки. И ты, ароматный кофе, согревающий ее и мою грудь, ее и мой живот, такие близкие, такие родные, и каждый из нас пьет свою маленькую чашу, словно чудесный кубок. . .

Однажды Жан Кальме занимался мастурбацией; вечером, при встрече с Терезой, глядя в ее чистые глаза, он ощутил жгучий стыд. В тот день она опять носила множество своих причудливых ожерелий и колец; металлическая цепочка на голове скрепляла уложенную косу. Жан Кальме вспомнил всеведущий взгляд отца; а знакомо ли это занятие чаровнице Терезе? Любопытство разбирало его: что, если и она, в ночной постели, напрягшейся рукой, липким пальцем?.. Свет «Епархии» сообщал таинственность лицам одиночных посетителей, уподобляя их старинным портретам на темном фоне деревянных панелей, не отражающих огней. Былой ужас заполнил душу Жана Кальме. Какая еще драма ждет его после смерти отца? Он вспомнил странное сновидение прошлой ночи: будто бы Кошечка сунула бутылку молока под пижаму и согревает ее между ног. Тогда он взялся за член правой рукой, и теплая жидкость брызнула, не дождавшись конца. Отец карающий, прочь, изыди! Отныне мысли мои далеки от тебя. Отныне Тереза обволакивает меня своим изумрудным взглядом с золотом в зрачках, в огненной оправе ресниц, и в памяти возникает вдруг запах накрахмаленного платка под подушкой, в Лютри, и багровое лицо, и безжалостные глаза, видящие сквозь стену, но это уже радостный запах и счастливые муки, и злобным обличениям уже не пронзить ваше сердце, они влекут вас лишь к чистой, ничем не запятнанной радости. Кошечка *знала*, Жан Кальме был в этом уверен, но чувствовал только ликование и гордость. Одно из колец Терезы ярко блестело на солнце. Камень в железной оправе походил на лужицу крови.

– Хорошо выспался? – спросила она.

Жан Кальме жестоко покраснел. Начинается! Нет, он твердо решил, что будет счастлив. Кровь горячо забурила в голубых венах. Дикая вой разорвал молчание скал.

– А как ты спишь? – продолжала Кошечка. – На каком боку? Ты прячешь руки под одеялом? – И мечтательно добавила: – Хотела бы я поглядеть на тебя спящего, Жан. На тебя спящего... На тебя спящего... Но это, наверное, каприз. И все же с тех пор, как мы познакомились...

Жан Кальме подумал о волшебнице из «Золотого осла» Апулея. Вдруг и его превратят в животное и станут мучить? Как раз сегодня утром он читал в классе отрывок про конюшню, где Луция осыпают ударами. Не обратит ли и его в осла эта златокобая чаровница? А почему бы и нет? И он с удовольствием вообразил себя четвероногим, отданным в полную власть сказочной феи – Памфилы, или Цирцеи, или Морганы. Посланницы темных сил. И ты, в желто-белой шубке, с изумрудно-зеленым взглядом, прозрачным, как осенний сад, глубоким, как альпийская ночь! Кто зовет из-за стен? Что за сова, что за испуганный зверь издает тоскливые вопли под луной, в зловещем ночном мраке? Жан Кальме видит золотые искорки в глубине зрачков Кошечки. Занимается ли она любовью? Кто расхищает сокровища из ее корзиночки? И Жан Кальме, доселе имевший дело лишь с грязными проститутками, пытается представить себе потайную щель Кошечки, нежную сладостную щелку, так не похожую на мерзкие кратеры потрепанных увядших шлюх; он представляет себе, как его рука впервые проскальзывает в трусики Терезы, трогает густую теплую поросль, находит источник белой пахучей влаги; и вот уже его губы жадно прилипают к атласной коже, к щекочущим завиткам...

В кафе было полно молодежи, игравшей в шахматы и в карты. Часы показывали десять минут шестого. Несколько работяг в спецовках ели бутерброды и пили пиво в задней комнате, вдали от стойки и туалетов. Среди подростков, занявших почти все столы главного помещения, было много учеников Жана Кальме, тех самых, что нынче утром разбирали с ним в классе «Золотого осла». Именно в этот момент и случилось громкое событие, навсегда вошедшее в анналы гимназии, событие, которое полиция положила под сукно, когда история

эта кончилась и никто на земле уже не мог спасти неприкаянную душу Жана Кальме. И так, было десять минут шестого. Все новые и новые молодые посетители вваливались в «Епархию» и подсаживались к играющим, на скамьи, расставленные вдоль стен.

И вдруг Жан Кальме начал кричать. Это были прерывистые пронзительные вопли, громкие, злобные, рыдающие; все кафе застыло в ужасе. Он не выкрикивал никаких слов; вскочив с места, угрожающе сжав кулаки, он просто вопил во все горло. И лишь миг спустя этот жуткий концерт вылился в сбивчивую речь.

– Я не сволочь! – орал Жан Кальме, размахивая руками. – Я чист, я не сволочь, слышите, вы, оставьте меня в покое, я вам ничего не сделал, я чист, я невинен, мне нечего вам больше сказать, я чист, я чист, я чист!..

Он рухнул на стол, разбив при этом бокалы и чашки, поранив осколками лицо, и внезапно затих в прострации, словно пораженный священной молнией.

С первого же крика Жана Кальме в «Епархии» воцарилась мертвая тишина; все лица обратились к безумцу с выражением страха, жалости и печали. Из рук игроков попадали карты и фигуры, официанты окаменели на ходу, какой-то старичок, ничего не ведая, вошел с улицы, остановился в дверях с приподнятой шляпой, на полушаге, да так и остолбенел в этой комической позе, среди всеобщего изумления.

Когда Жан Кальме закричал, Кошечка пристально посмотрела на него и улыбнулась. Она улыбалась нежно и восхищенно, несмотря на испуг окружающих, несмотря на скандал. Потом коснулась лба человека, простертого на столе, среди разбитой посуды. Официанты пришли в себя и задвигались. Старичок на пороге ожил и добрался до ближайшего стула. Взмокшие руки игроков снова развернули веером карты. На семи шахматных досках возобновились партии. Люди бессознательно потирали себе горло и грудь – так ощупывают, так успокаивают себя, спасшись от потопа или кораблекрушения. Они облегченно вздыхали, сглатывали слюну, расслаблялись.

Вот когда ужасные веса добра и зла призвали Жана Кальме на свои чаши. Он поднял глаза от стола с осколками, куда капала его кровь, и увидел целую толпу юных надсмотрщиков, следивших за ним. Стекла очков зловеще поблескивали над мерзкими бородками пророков, курчавые волосы фарисеев ниспадали на плечи. И весь этот ареопаг сверлил его взглядом, изучал, оценивал, взвешивал; вот сейчас судьи огласят жестокий приговор, который будет непрестанно звенеть в обезумевшей голове Жана Кальме. Ужасные слова отца! Ибо драма заключалась именно в этом: молодые люди превратились в строгих отцов; хуже того – в глубине смятенного сознания он понимал, что это и есть его отец, доктор, тиран, деспот, которого скандал вызвал из небытия после долгих недель счастливого, легкого покоя. Как будто сам Жан Кальме специально начал вопить, чтобы вернуть отца из мрака заключения, где он пребывал все эти пять недель. Как будто он внезапно ощутил острую вину за эту ссылку, как будто он вторично убил отца, позабыв его, изгнав из мыслей и снов, закрыв ему доступ в гимназию и к Кошечке, безжалостно ввергнув в багровое пламя крематория, в холодную тесную каменную урну. Но доктор отомстил за себя, он взломал запоры, разбил решетки, вырвался из колумбария, и вот его грузный призрак, его тяжелая поступь, его жирное красное лицо, его шляпа набекрень и толстое пальто, его жестокие глаза, его вонючая сигара, его запах вина, его хозяйский голос, его садистская любовь к преследованию, его крики, его презрение, его гнев разом обрушились на сына, точно мощный ураган! Раздавленный, уничтоженный, Жан Кальме смотрел на своего палача, возглавляющего трибунал из его учеников. Струйка крови щекотала его подбородок, словно грязный поцелуй, но он не осмеливался ни коснуться ранки, ни встать, ни уйти.

Все это продолжалось каких-нибудь сорок пять секунд.

Официантка уносила на подносе битую посуду, бармен менял скатерть, в зале снова зазвучали разговоры. Кошечка вынула из своей круглой корзиночки бумажную салфетку и принялась вытирать кровь со щеки и подбородка Жана Кальме; теперь лица бородатых юношей и распущенные волосы девушек выглядели вполне мило и невинно, вечернее солнце постепенно багровело, разводя пожар на крышах домов, на мосту, на шпилях собора. Открыв портмоне, Кошечка спокойно выкладывала монеты на стол. Затем она встала, Жан Кальме тоже поднялся, вдвоем они пересекли зал, открыли дверь, вышли на Университетскую улицу. Все, как вчера. Как раньше. Они поднялись в ее комнатку. Сели на кровать с золотистым покрывалом, выпили кофе из кукольных чашечек. И вот наконец впервые они ложатся рядом, под плакатом, молча, спокойно дыша, и время обволакивает их, как нежный мех, и оранжевый свет льется сквозь стекло затворенного окна, и слышен звон соборных колоколов, отбивающих шесть часов, и долго еще после того, как они смолкли, эхо мечется среди каменных стен, в коридорах и дворах, в садах и криптах старого города. В комнате стоит кровать, на кровати недвижно лежат двое – молодой человек с длинной царпиной на подбородке и девушка с пламенеющей гривой волос. Они не шевелятся. Они слушают свое дыхание. Так проходит четверть часа. Свет в окне меркнет: из кровавого становится розовым, пепельно-розовым, пепельным, точно рдеющие угли, которые гаснут, превращаясь в серую золу.

– Мне холодно, – сказал Жан Кальме. Приподняв накидку, он проскальзывает в постель и кутается в шерстяное одеяло.

Кошечка делает то же самое, прижимается к нему. Им тепло под пушистым одеялом, оно по-матерински ласково греет их, укрывает от внешнего мира, соединяет. Они знают это и не двигаются. Лежат с закрытыми глазами. Жан Кальме не борется с подступающей дремотой. Сознание его затуманено. Может быть, он и засыпает на несколько минут. Или изображает спящего. Но вдруг прохладная рука ложится на его шею; два пальца легонько гладят поперез, третий касается щеки, чуть нажимает, и Жан Кальме поворачивает голову. Теперь его лицо совсем близко от лица Терезы, которая глядит на него сверху, приподнявшись на локте, потом наклоняется, и ее влажные подвижные губы приникают к его рту. Жан Кальме с наслаждением пьет из этого сладкого родника, вдыхая аромат корицы, теплого камня и цветочной пыльцы. . . Это долгое мгновение возвращает его к чистой радости детства, к зеленой воде младенческих снов. Свежее, мощное возбуждение поднимается в нем, пока по его губам пробегает, скользя внутрь, неутомимый язычок Кошечки. Он не возвращает ей поцелуя, отдаваясь ее ласкам с детским сладострастием, плавая в блаженстве безопасного покоя, закрытого для любых страхов. Ах, эти ароматы цветов, нагретых камней, зеленого сада, эти запахи детства, отдыха, пасхальных каникул с их колокольным звоном! Под его сомкнутыми веками проплывают изумрудные цветущие луга, голубые зубчатые контуры леса на горизонте и надо всем этим веселые, кудрявые, как барашки, белые облачка. Быстрый язычок Кошечки пощекотал ему десны. Жан Кальме открыл рот, и язык скользнул вглубь, вернулся, обежал его губы и снова приник к зубам. Девушка придвинулась к нему вплотную, и он явственно различил запах лосьона, которым она, верно, протирала лицо нынче утром, и аромат волос, более зрелый, более сдержанный, словно это был секрет, которым она поделилась с ним на короткий миг, прежде чем снова укрыть его в золоте кос.

Наступала ночь.

Лампы гимназии освещали стену над лежавшими, и Жан Кальме дивился близости классов, где завтра утром будет давать уроки.

Внезапно Кошечка встала на колени, проворно расстегнула рубашку Жана Кальме и коснулась поцелуем его груди. Золотые пряди защекотали ему шею. Пятна света на стене померкли, наступила полная темнота, но силуэт и волосы Кошечки наполняли этот мрак искрами и бли-

ками, и Жан Кальме восхищенно глядел в эту мерцающую нежную живую тьму.

Потом Кошечка тихонько лизнула его соски.

Ее язык ласкал ему грудь, прохладная рука спускалась к животу, и Жан Кальме содрогался от невыносимой остроты ощущений и видений, которые буквально исторгали из него душу; так мощный тайфун сносит дома, сперва расшатывает их, потом обрушив, подхватив, взметнув ввысь и безжалостно разметав в воздухе обломки; так пороховой взрыв превращает замок в груды камней.

Все замки разом взлетали на воздух.

И он, разбитый, побежденный, взлетал ввысь и парил в небесах.

Ужасная и сладостная свежесть пронзала его до мозга костей, холодный озноб сковывал жилы, сдавливал горло, пробегал по спине. Пальцы Кошечки щекотали ему пупок, скользили ниже, к паху, замирали, снова нежно пробегали по телу, легонько массируя живот и бедра.

Жан Кальме не двигался, ему хотелось лежать вот так, в темноте, на спине, вытянув руки вдоль тела, с оголенным животом, с раскинутыми ногами. Лежать, как мертвому. . . да, я мертв, я сделан из камня, меня навсегда положили в мою собственную гробницу, мне осталось лишь сложить руки на груди, чтобы и впрямь превратиться в застывшее мраморное изваяние!

Он молитвенно соединил ладони, вверх пальцами, закрыл в темноте глаза и представил себя фигурой на надгробии, загадочным рыцарем Франциском, что возлежит в этой позе в мертвой тиши замка Жакмар де ла Сарра. Сам замок с его крепостными башнями грозно высится над ложиной, где обитают волки и колдуньи. А внутри, во мраке часовни, жестокий хозяин спит в камне, под скорбной охраной вдовы, дочери и двоих сыновей, которые вот уже шесть столетий усердно молятся во искупление грехов своего повелителя. Когда Жан Кальме впервые посетил Жакмар вместе с отцом, он был потрясен, увидев, что скульптор покрыл фигуру лежащего человека омерзительными скользкими тварями: руки и грудь были обвиты змеями, на щеках и глазах сидели жабы, – казалось, все злобные духи Веножа вышли из холодной реки и сумрачных болот, чтобы на веки вечные остаться подле своего сюзерена, облепив его чешуей и слизью.

Но ведь его, Жана Кальме, ласкают теплые губы, а две нежные девичьи руки гладят его грудь и бедра. Значит, он не виноват, не грешен, как ужасный рыцарь из Сарра! Я никого не убивал! Я добр! Мрачный сир Франциск грабил путников, пытал, насиловал и убивал их, дабы потешить свою кровожадную душу. Огонь, кровь, черная месть. Но я-то чист, я чист, как младенец! Смерть впивается в губы поцелуем вампира. Язык девушки пробегает по моим соскам. О, бездна ночная! Тайна раздела и отказ от всякого раздела. О, ночь избрания! О, благодать!

Встав на колени, Кошечка схватила запястья Жана Кальме и, раскинув его руки, прижала их к простыне. Теперь он был распят и смаковал это ощущение со странным удовольствием. Он дышал медленно и глубоко, он видел со стороны, как вздымается его собственная грудь, открытая для поцелуев Терезы, как трепещет тело под ее ласками. Легкие руки еще раз нажали на его запястья, словно веля ему хранить позу распятого. Затем она быстро расстегнула пряжку его ремня, спустила молнию и, сняв с него брюки и трусы, бросила на ковер, куда они спланировали, как два парашютика. Теперь Жан Кальме лежал обнаженным под ее ловкими пальцами. Согнувшись дугой, Кошечка – прелестная демоница, восхитительный вампир – припала губами к его члену. Ее волосы щекотали бедра Жана Кальме; губы осыпали его тело быстрыми легкими поцелуями – так люди, пришедшие на свадьбу или на похороны, разбрасывают на столе свои визитные карточки, прежде чем удалиться на цыпочках, оставив хозяина во власти его ликования или горя, а выйдя на улицу, глядят на освещенные окна квартиры

с легкой завистью, как на единственный рай, сулящий беззаботный покой. Но демоница не думала исчезать, ее нежное личико, ее мягкие губы и острые зубки то и дело касались члена Жана Кальме, и тот медленно напрягался, вставал, тянулся навстречу теплomu дыханию веселой колдуньи.

Теперь и он задышал глубже под ее прикосновениями.

Кошечка начала раздеваться в темноте, с уверенной легкостью, позволявшей Жану Кальме угадывать каждый ее жест. Миг спустя его тела коснулись соски ее упругих грудей, пышно-волосая головка уютно легла ему на плечо, живот приник к его животу, бедра к бедрам, кудрявое лоно мягко надавило на приятно горевший член. Кошечка слегка привстала, и член Жана Кальме, проникнув сквозь густые завитки, отыскал вход в волшебный тайник; колдунья волнообразными движениями помогала ему, стараясь облегчить проникновение. Все шло хорошо. Сбывалось обещание Диониса. Жан Кальме скользил по молочно-белой дороге в теплое материнское убежище. Он задышался от восторга.

И внезапно в нем словно замкнулся ток.

Его сотряс холодный панический ужас.

Перед ним разверзлась пустота, он стоял, одинокий, всеми покинутый, на вершине скалы, круто обрывавшейся в морскую бездну. Кто заманил его в ловушку, кто бросил на этой страшной высоте? Он не знал. Но безжалостный приговор, вынесенный ему теньями предков, приведен в исполнение, и из самой глубины его существа – сожженного волка, изгнанного правителя, растоптанной презренной твари – вырвался ужасающий вопль, какого не издать отныне ни одному человеку.

Стыд пронзил его раскаленным железом.

Его член вяло упал на живот.

Жан Кальме замер.

Кошечка все еще двигалась; Жан Кальме знал: она делает вид, будто ничего не заметила, и иступленно, всеми фибрами души, жаждал чудотворного слова, которое наделило бы его силой, оживило и вырвало из царства мертвых. Но она сделала непоправимый жест: коснулась пальцем увядшего пениса. И в тот же миг прогремел гром, и доктор, восставший в сиянии облаков, бросился на девушку, подмял под себя, овладел ею, выпустил из рук, разбитую, оскверненную, и снова грубо взял, воспламенив ее кровь, залив семенем, ввергнув в экстаз. Доктор, хохочущий во все горло. . .

– Ну, что же ты, мой жалкий сын? Мало витаминов съел, что ли? Силенок не хватает? Бери пример со своего старого отца. Больной, мертвый, сожженный, он все равно заставляет женщин плясать на кончике своего жала. И эту тоже, слышишь, ты, хиляк убогий! Твою Кошечку. Ха-ха, твою! Если ты не способен отодрать как следует свою подружку, нечего было и лезть к ней!

Вот что орал доктор своему уничтоженному сыну. Сыну, для которого настал конец света.

Кошечка снова легла, прижалась к его недвижному телу, коснулась губами виска и замерла в темноте. Прошло несколько минут.

– Хочешь переночевать здесь? – спросила она наконец.

– Нет, – коротко ответил Жан Кальме.

Он разыскал на ощупь свою одежду, прощально тронул рукой лоб девушки, которая не шевельнулась в своей постели, и вышел в холодную ночь.

Переходя улицу Ситэ, он взглянул на окно комнатки, которую покинул минуту назад, и то, что он увидел, окончательно добило его, преисполнив сладкой и яростной печали: на подоконнике стояла бутылка молока, так ясно напомнившая ему первые образы детства. Когда он садился в свою машину, по его лицу градом катились слезы.

Изабель умерла 23 апреля, в понедельник, на Пасху; она протянула больше, чем ожидалось; под конец она уже не вставала с постели – разве лишь на несколько минут, чтобы принять друзей, каждый день собиравшихся в ее комнате.

Ее похоронили в Креси.

Гроб провожало множество людей – огромная толпа подростков в джинсах, чинная вереница крестьян в траурной одежде, со шляпами в руках.

Жан Кальме не был на погребении.

Ему все рассказали на следующий день – только что кончились каникулы, над Ситэ гулял легкий ветерок, небо было яростно-синим, на улице Мерсери шумные стайки детей разбегались после уроков, кто куда.

Жан Кальме терзался стыдом. Как мог он предать Изабель?! Он навестил ее всего один раз, в день ее рождения, 20 марта; одноклассники ели пирожные, откупоривали бутылки вина, слушали записи Леонарда Коэна, Джоан Баэз, Донована, Боба Дилана.

Всю свою оставшуюся жизнь Жан Кальме будет корить себя, что не был на похоронах Изабель. Ну зачем он наглотался в тот день снотворных, которые повергли его в свинцовый непробудный сон, так что он очнулся только к пяти часам вечера, когда в Креси уже сидели за поминальной трапезой?! Он не осмелился показаться родителям Изабель, ее родне и школьным друзьям, он испугался. В тот миг, как он узнал о смерти своей ученицы, его охватил какой-то мерзкий, стыдливый страх, что его упрекнут: вот, мол, ты, никчемный, ненормальный холостяк, жив, а эта красавица девушка лежит в могиле! Что вы здесь делаете, месье Кальме? Ах, плачете? И заодно нежитесь под этим ласковым солнышком, не так ли? Лучше бы вы заняли место нашей дочери, уважаемый! Вы испоганили свою жизнь, а она... Да и то, не слишком ли много чести! Как подумаешь – дожить до тридцати девяти лет и годиться лишь на то, чтобы копаться в изысках поэтов-декадентов! Какой позор, месье Кальме! Вы еще колеблетесь? Ну что ж, взгляните на нашу дочь последний раз, а теперь закроем гроб, сбросим его в яму и пойдем выпьем стаканчик на ферме наших стариков. А к вину подадут еще булочки и пирожные. Как раз годится, чтобы подсластить вашу трусость, верно, месье Кальме, господин ученый преподаватель латыни в нашей гимназии?!

Жан Кальме рассматривал фотографии, сделанные на похоронах, и, преодолевая себя, слушал рассказ своих учеников.

Вот и все. Кончено. Одноклассники часто вспоминают об умершей подруге. Жан Кальме видится с Кошечкой почти каждый день. Нередко кто-нибудь из учеников приносит ему сочиненные стихи или песню, с неизменным посвящением, которое вновь обжигает его стыдом и скорбью – «Памяти Изабель».

Липы уже оделись листвой, и ее аромат напоминает о близости лета.

Однажды, погожим апрельским деньком, Жан Кальме встретил на берегу озера кота и пошел за ним следом. Кот наговорил ему множество разных вещей:

– Ты ничего не понял, Жан Кальме. Ты просто болван, жалкий тип, ты катишься по наклонной плоскости. Я тебя очень люблю, Жан Кальме, у тебя полно всяких достоинств, но отчего ты непрерывно творишь глупости?

Жан Кальме спокойно шел за хвостатым оракулом, слушая его крайне внимательно.

– Вот посмотри на меня, – продолжал кот. – Разве я терзаюсь так, как ты? Разве меня мучат угрызения совести или печаль?

– У тебя нет отца, – отвечал Жан Кальме, споткнувшись о белый камень на дорожке.

– Скажешь тоже! – фыркнул кот и поднял к безоблачному небу черный хвост, обнажив розовый анус.

Жану Кальме было хорошо. Справа, вдоль узкой тропинки, тянулись зеленые изгороди и нагретые солнцем стены, слева лежало озеро, уже начинавшее краснеть перед закатом.

– Какая красота! – сказал кот. – Спеша порадовать свой взор, свои чувства, свою душу, Жан Кальме! В один прекрасный день наступит конец и ты уже не сможешь тешиться радостями живых. Видишь тот белый кораблик, бегущий к Эвиану? Полюбуйся же этой блестящей точкой на изумрудно-красных волнах! Видишь ли ты Савойю, ее голубые и сиреневые вершины, где звенят бурные каскады и камни с гулким стуком летят в пропасть? А эти туманы, ползущие с берегов Роны? А болота, полные лягушачьей икры и юрких ужей в глубине сонных вод, куда не проникают багровые лучи заката? Помнишь ли ястребов, парящих над горными хребтами?

– А ты, кот, – спросил в свою очередь Жан Кальме, – помнишь ли ты своего отца?

Он тотчас пожалел о своем вопросе, ибо кот повернулся и взглянул на него с насмешкой.

Однако они продолжили свой путь. С минуту оба молчали. Солнце, яркое, как апельсин, висело над озером, играющим золотыми блестками.

Кот первым нарушил молчание:

– Жан Кальме!

– Я здесь, – откликнулся Жан Кальме.

– Думал ли ты уже о смерти, Жан Кальме? Постой, не отвечай. Я говорю с тобой не о смерти других людей. И не о том, как отзывается она в твоей душе. И не о твоих драгоценных кладбищах. Я говорю о твоей собственной смерти, Жан Кальме. Размышлял ли ты когда-нибудь о твоём небытии?

– Кот не быть веселый, – сказал Жан Кальме. – Злой кот задавать грустный вопрос для свой товарищ. Товарищ не понимать, зачем злой кот вести такая речь.

– Кончай кривляться, – буркнул кот. – Отвечай на вопрос о твоей смерти. Что ж ты молчишь? Ты ничего не понял, Жан Кальме. Ты жив лишь наполовину. Ты догораешь, ты – пепел, еще более эфемерный, чем прах твоего отца. А твоя кровь? Твоя еще не старая плоть? Твой мозг, полный веселого безумия? Что за дурацкие шутки, Жан Кальме! Дух Диониса или ничего! Пан или смерть! Спасение в поэзии – или последний путь к последней пещере самой распоследней горы Греции или бог знает где еще. В глубину самых древних мифологий – или в костер каждого часа. Решайся, делай выбор, Жан Кальме, иначе ты погиб!

Кот шел гибкой волнообразной походкой, ловко минуя острые камни; шерсть его лоснилась на солнце. Жан Кальме восхищался едкой уверенностью суждений животного и слушал его как зачарованный. Кот был прав. Абсолютно прав. Он, Жан Кальме, погряз в трясине отчаяния; сможет ли он когда-нибудь выбраться оттуда? Ну и хохотал бы отец, если бы увидел его в компании этого хвостатого пророка. . . А впрочем, к черту отца. И тотчас же воспоминание о

багровом лице доктора пронзило его судорожным ознобом. Он взглянул на красивого гибкого зверя, увидел его силу, увидел его хитрость, увидел, с каким удовольствием тот шагает по тропинке, и решил слушаться его. Слушаться буквально во всем. Да, нужно быть счастливым. Нужно бежать от мрачной бездны отчаяния, которым он упивался все эти долгие годы. Теперь ничто не остановит его.

И в то же мгновение кот угадал, что больше не нужен Жану Кальме, ибо тот согласен с ним. Свернув направо, он взбежал по тропе, идущей в гору, к домику, обвитому плющом, юркнул в изгородь и исчез.

Жан Кальме подивился этой встрече; в грациозных повадках животного ему чудилась колдовская красота, в его бегстве тайна, а в речах – Божественное предостережение. Он вспоминал свой приезд в Уши, прелесть набережных, фасады старинных отелей, позолоченные вечерним солнцем, террасы кафе, полные молодых людей. И часы, проведенные там после крематория, и поминальная трапеза, и скрытое ликование, а за ним тяжкая депрессия. Что же я делал с тех пор? – вопрошал он себя. А этот скандал в «Епархии»? А комнатка в Нижнем Ситэ? И он твердо решил покончить с безумием, быть спокойным, быть счастливым, обрести безмятежную радость, силу и веру.

В последующие недели Кошечка была чудо как нежна и добра, и Жан Кальме провел у нее много ночей. Он забирался в кровать поближе к стенке, где висел плакат с пантерой, Тереза обнимала его, принимала в себя, ласкала долгими часами напролет. Теперь Жан Кальме любил ее по-настоящему, он стал ее любовником, она говорила, что счастлива, и он тоже был счастлив все эти первые майские дни, когда птицы Ситэ будили их своим щебетом на заре, в теплом забытьи блаженства.

Именно в это время Жана Кальме вызвал к себе господин Грапп, директор гимназии, полковник и депутат. Это был высокий суровый человек, чьи мощные стати говорили об огромной физической силе. Его крупный шишковатый череп был совершенно лыс, глаза неизменно скрывались за черными очками.

Жану Кальме очень не понравился этот вызов. Что ему нужно, этому Граппу? Он знал о его приступах яростного гнева, о спеси и упрямстве, но, главное, боялся директора как старшего, как хозяина. Встречая или хотя бы видя господина Граппа издали на тесных улочках Ситэ, он всегда испытывал страх, беспокойство и острый стыд, словно его поймали за каким-то непотребным делом. «Что я еще натворил? – тоскливо думал Жан Кальме в такие минуты. – В чем он сейчас обвинит меня?» И он со всех ног бежал в другую сторону или, если это было в школьном коридоре, трусливо забивался в укромный уголок и, делая вид, будто смотрит в зарешеченное окно, украдкой косился на лысого гиганта, от чьей мощной поступи дрожал пол.

Много раз, что в учительской, что в секретариате перед директорским кабинетом, Жан Кальме испытывал то же смятение, тот же страх, что охватывали его на пороге кабинета отца. При виде внушительной фигуры Граппа, его мохнатого, верблюжьей шерсти, желтого пиджака, черных очков и башмаков с двойными подошвами его пробирал озноб, как в «Тополях», когда он стучал в дверь доктора, обливаясь потом от страха и унижения. Десятки раз он спрашивал себя, испытывают ли его коллеги ту же робость перед директором. Франсуа Клерк, Верре... обращает ли их в бегство лысый великан? Притворяясь, будто ищет номер телефона в справочнике или заглядывает в словарь, Жан Кальме исподтишка наблюдал за своими товарищами в учительской. Нет, никак не понять. И Франсуа Клерк и Верре вполне непринужденно общались с Граппом. Но может быть, они притворяются? Может, и они в глубине души трепещут под всевидящим оком Хозяина? Когда-нибудь он спросит об этом у Франсуа. Если осмелится. Ибо такой вопрос сразу же выдаст его с головой.

Итак, он явился в секретариат, и мадам Уазель, неизменно восхищавшая Жана Кальме своими зелеными глазами и пышным бюстом, велела ему подождать несколько минут: господин директор скоро освободится. Жан Кальме, заранее взмокший от страха, принялся разглядывать мадам Уазель. Она села печатать, и ее груди заколыхались под тонкой блузкой. Двадцать пять лет, загорелая, жизнерадостная. Но он робел и перед нею – ведь она имела свободный доступ к директору, знала все его перемены настроения, проекты, секреты. Она была участницей элевсийских мистерий, допущенной к самому треножнику, к углям, к священному напитку, к дымку жертвоприношений во славу Бога-Директора-Повелителя людей; она излучала таинственную силу инициации, приводившую в трепет Жана Кальме. Хорошенькая женщина. И счастливая. Вот она-то нашла себе подходящего хозяина: красивого, изысканного француза, стажера-преподавателя математики и гимнастики.

Жан Кальме терпеливо ждал, когда директор допустит его в святилище. Он потел все сильнее и украдкой вытирал ладони о брюки, боясь в то же время, что они, не дай Бог, пожелтеют и будут выглядеть непристойно и комично. Мадам Уазель вырвала письмо из машинки, прилепнула на него печать гимназии, подписала, сложила, сунула в конверт, лизнула марку своим длинным язычком, приклеила ее ударом кулака и бросила послание в картонную коробку, где накапливалась почта богов. Дверь кабинета открылась, и на пороге возник господин Грапп. Жан Кальме попытался встать, хотя что-то внутри него в ужасе сопротивлялось, тянуло его бежать, укрыться в какой-нибудь темной норе; однако миг спустя он превозмог себя, встал с видимой легкостью и, улыбаясь, приблизился к господину Граппу. Огромная, неправдоподобно широкая фигура директора, заполнившая всю дверную раму, выглядела фантастическим

параллелепипедом из желтой шерсти, над которым мрачно чернели непроницаемые очки и сиял голый шишковатый череп. Гигант открыл рот; в углах губ скопилась слюна, неровные зубы походили на могильные камни заброшенного кладбища, где обитают пожиратели детей. Волосатая рука протянулась к Жану Кальме – Жану Кальме, который споткнулся на полпути, покраснел, взмок до корней волос, подал, в свою очередь, влажную руку, проследовал за людоедом в его логово и бессильно опустился в жесткое кресло, указанное хозяином. Тот уже сидел перед ним за письменным столом, костистый, массивный, в черных очках, которые и прятали и выдавали водянисто-синие глаза, чей взгляд насквозь пронизывал сердце Жана Кальме.

– Я буду с вами откровенен, господин Кальме, – оглушительно начал директор, и Жан Кальме, в который уже раз, отметил его акцент уроженца кантона Во, сохранивший тягучие нотки крестьянского говора. – Вас любят и уважают в нашей гимназии, господин Кальме, мы ценим ваш высокий профессионализм. Ученики вашего класса прилежно занимаются, вы способны вызвать у них тягу к знаниям, и я не раз слышал от их родителей, с какой любовью они относятся к вам. Именно это и побуждает меня сегодня говорить с вами весьма решительно.

Он сделал паузу, широко улыбнулся, показав зубы, и Жан Кальме приготовился быть съеденным со всеми потрохами.

– Я не стал беседовать с вами тотчас после инцидента, решив дать вам время прийти в себя и поразмыслить. Речь идет о прискорбном происшествии в «Епархии». Вы, разумеется, понимаете, что до меня дошли слухи об этом событии – от многих ваших коллег и от родителей, которые поспешили выразить мне свое удивление. Добавлю также, что мне звонили, весьма конфиденциально, из уголовной полиции, с целью выяснить, не замешаны ли тут наркотики. Наша профессия такова, что за нами пристально следят, господин Кальме, и я, признаться, плохо понимаю, зная ваше ответственное отношение к работе, нас объединяющей, как вы дошли до таких крайностей. Так что же случилось, господин Кальме? Вы выпили лишнего? Вы потеряли чувство реальности? Конечно, если это просто случайный нервный срыв, тогда дело другое. Объяснитесь же, господин Кальме, будьте откровенны, – в конце концов, я гожусь вам в отцы. . .

Жан Кальме сверхчеловеческим усилием заставил себя смотреть в таинственные черные стекла; он не мог говорить, его вспотевшая рука дрожала на подлокотнике кресла.

– Мне стало дурно, – выговорил он наконец.

Господин Грапп покачал головой, снисходительно, точно говорил с ребенком.

– Я. . . плохо помню случившееся, – продолжал Жан Кальме упавшим голосом. – Я говорил что-то несвязное. . . Ничего не видел перед собой. . .

– Прискорбно то, что вы не говорили, а кричали, – отрубил директор. – В вашем положении такие вещи неприличны. В кафе на тот момент было более тридцати учеников. Впрочем, и само кафе. . . но это уже другая проблема, и с ней мы разберемся в свое время. Согласитесь же, господин Кальме, что ваше поведение было прямо-таки скандальным.

Жан Кальме пролепетал, что он согласен.

– Может быть, у вас не в порядке нервы, господин Кальме? Может быть, вам следует полечиться, провести несколько недель в клинике?

Жан Кальме в ужасе подскочил. Клиника, психиатры, его бедное сердце, вывернутое наизнанку, палата-одиночка, режим. . . Собрав последние силы, он объявил, что абсолютно здоров.

– Много ли вы пьете, господин Кальме? Вас часто видят в кафе в компании учеников, за пивом, за абсентом. . .

Нет-нет, он, Жан Кальме, не пьет. Конечно, он любит общаться с молодежью. Нет-нет, господин директор, никакой особой склонности к алкоголю. Нет, его не тянет к вину. И никогда не тянуло.

– Вам нужно бы жениться, господин Кальме. Нехорошо жить холостяком, Тем более что вы родились в многодетной семье и наверняка страдаете сейчас от одиночества. Я хорошо знал вашего дорогого батюшку – вот уж кто жил исключительно для семьи, для детей, для пациентов! Ах, какой замечательный был человек! Нынче таких почти не осталось. А наша страна серьезно нуждается в них. Какие масштабы, господин Кальме! Какая хватка! Какая сила! Какая преданность! Короче, – отрезал он, – я рассчитываю на вас и надеюсь, что это мелкое происшествие в «Епархии» больше не повторится. Подумайте о родных, подумайте обо всех нас. Встряхнитесь. Найдите себе подругу жизни, народите ребятишек, господин Кальме. *Et libri, et liberi**, как выражались дорогие вашему сердцу римляне. Вы вполне способны и копаться в книгах и воспитывать своих отпрысков. Итак, дерзайте, господин Кальме! Рад был побеседовать с вами. Помните, что я всецело доверяю вам.

Он встал, и его мощная фигура в желтом пиджаке заслонила все окно, грубая волосатая лапища протянулась к руке Жана Кальме, стиснула ее, потрясла в воздухе между брюхом каннибала и временно помилованной жертвой. Спасенный и уничтоженный, Жан Кальме выбрался в коридор, где бронзовый Рамю устремил на него свои отвратительно пустые гляделки.

Сам не зная как, Жан Кальме оказался на площади Палюд. Он шагал машинально, ни о чем не думая; близился вечер, воздух был теплый, чуточку приторный. Он знал, куда идет, но ему не было стыдно. Любой ценой стереть воспоминание об этой сцене с помощью другой, пусть даже из ряда вон выходящей. Любой ценой спастись от гнета директора, губителя жизни, затмевающего свет.

Жан Кальме спокойно пересек площадь Палюд, спустился к улице Лув, толкнул дверь, поднялся по лестнице. Четвертый этаж. Деревянная черная дверь с пришпиленной карточкой: Пернетта Коломб. Пышные груди в низком декольте. Глаза, разрисованные жирным гримом. Кроваво-красные губы. Пятьдесят пять лет. Выражение циничной иронии на круглом лице.

– О, да это мой миленький учитель!

С радостным кудахтаньем она чмокает Жана Кальме в щеку, приседает в реверансе и торжественно-комическим жестом приглашает его войти в свою двухкомнатную квартиру.

– Ну, как поживает мой миленький учитель? Давненько, давненько он не навещал свою Пернетту. Видать, дела одолели или, может, подружка завелась, а?

Жану Кальме не противно ее слушать: под этим зубоскальством он чувствует что-то вроде искренней нежности, которая потихоньку развеивает его тоску. Пернетта присаживается на диванчик поближе к нему.

– А не подумать ли нам сперва о подарочке, миленький, чтоб уж после ни о чем не беспокоиться? Как всегда, правда, пупсик?

Не глядя на женщину, Жан Кальме сует в ее руку, лежащую у него на колене, пятидесяти-франковую бумажку, загодя приготовленную в кармане. Подхватив деньги, Пернетта бросает их в ящик комода, который тут же запирается двойным поворотом ключа. Хлопая в ладоши, она подбегает к Жану Кальме и опрокидывает его на диван, задрав голые лоснящиеся ноги. Стирает в объятиях, впивается в губы поцелуем с запахом гренадина.

– Ну, пошли, малыш!

Она тащит его в другую комнату, ставит перед раковиной. В комнате почти жарко. Расстегнув Жану Кальме брюки, она сует руку в ширинку, высвобождает член, кладет его на

*Книги и дети (*лат.*).

холодный край раковины. Кусочек розового мыла. Две ловкие руки обмывают теплой водой приподнятый член. Брюки едва держатся на бедрах. Затем он идет за толстухой к тахте. Комбинация. Розовый эластичный пояс. Ноги без чулок. Пунцовый рот с запахом гренадина, приникнув к вздымающемуся животу Жана Кальме, жадно вбирает, сосет, лижет, покусывает; рука с поразительной быстротой ходит взад-вперед под его узкой спиной.

Черные трусики съезжают вниз по жирным ляжкам. Почти голый розовый лобок. Рука преподавателя латинского языка и литературы кантональной гимназии в Ситэ роется в этом публичном гнезде, раздвигает губы, смазанные глицерином.

– Давай! Давай!

Вздохи. Мерные толчки бедер. Жан Кальме, опираясь на колени, зарывается в пухлые округлости и складки ног Пернетты Коломб. Когда-то она объяснила ему происхождение своего имени. «На самом деле меня зовут Дениза. Мой отец любил меня до безумия. Он пил, мой папаша. Он работал кровельщиком. Это было во Фрибурге, еще до войны. Он сажал меня на свой велосипед, и мы ездили по округе, останавливались в кафе, он дул перно, абсент – в те времена абсента было хоть залейся. Вот он и прозвал меня своей пернеттой, своей божьей коровкой, своим утешением; он всегда смеялся и говорил приятелям, что я его единственная любовь. Однажды он нахлестался пуще обычного, упал с крыши и разбил голову об асфальт. С тех пор я зову себя не иначе, как Пернеттой. Это все, что мне осталось от него. Моя рабочая кличка, вот так-то, учитель!» Жан Кальме вонзается в лоно толстой божьей коровки, которое умело имитирует трепет и экстаз. «Милый! Милый! – кричит она. – Ну, еще, еще!» Это слово – милый – больно ранит. Но тут же мягкая влажная пульпа жадно засасывает его, и он, внедрившись в глубину блаженной горячей пещеры, извергается в нее, остановив свой бег на месте.

В момент ухода Жан Кальме уже не тоскует; гул, доносящийся с площади, сулит ему новые радости. Дениза осыпает его нежными словечками; как давнего клиента, она угощает его рюмочкой коньяка, чтобы он не чувствовал себя слишком одиноким в городе.

На прощанье Жан Кальме получает еще один поцелуй, благоухающий гренадином. Он нерешительно медлит на пороге. Потом выходит. «Да-да, конечно, л приду еще!» И только в коридоре на него вновь нападает печаль. Он спускается по лестнице. Выходит на площадь. Испытывает леденящий стыд, который заставляет его избегать людских взглядов. О, Жан Кальме, тебе слишком хорошо ведомо, что Дениза – женский вариант имени Дионис! Сестра, дочь, вдохновенная подруга божества. Какая насмешка! Какая жалкая пародия! Но близится вечер. Жан Кальме стоит, понурив голову, и именно в этот миг понимает, что стал добычей мрака, что должен отвернуться от горных высей, населенных богами.

III РЕВНОСТЬ

Кости его наполнены грехами юности его. . .
Книга Иова, 20, 11

Как раз в это время в гимназии вспыхнули волнения, прогремевшие на всю страну и принесшие печальную известность господину Граппу. По многим причинам событие это изменило жизнь и самого Жана Кальме.

Все началось в соборе, на церемонии Выпуска, знаменующей собой переход сотен юношей и девушек из коллежа второй ступени в гимназию. Один из учеников, который должен был декламировать с кафедры стихи, решил воспользоваться столь торжественной трибуной, чтобы раскритиковать в пух и прах систему образования с ее программами, осмеять своих преподавателей и призвать товарищей «не смиряться с гнетом».

Произошел оглушительный скандал.

Подумать только: на Выпускной церемонии, со святой церковной кафедры выступает мятежник, левак, оскорбляющий власти! Газеты раструбили новость по всей стране, всюду кипели страсти: жители сельских местностей обрадовались случаю предать анафеме школу, которая воспитывает одних бунтовщиков, горожане колебались между внешне суровыми «правыми» и зубоскалами-социалистами, родители засыпали редакции яростными письмами и сражались с сыновьями, требуя, чтобы те обрезали длинные волосы.

Господин Грапп и Департамент образования приняли весьма знаменательное решение: временно исключить дерзкого оратора из гимназии и допустить его к занятиям вместо апреля только в сентябре. Это послужило предлогом к многочисленным вспышкам недовольства, которое без конца подогревали левые организации, и начались шествия с лозунгами и плакатами, стихийные митинги на тесных площадях Ситэ, ежедневные листовки групп «Крот», «Спартак», «Марксистская лига» или «Разрыв», речи исключенного перед членами Департамента народного образования, и прочее в том же духе. «Верните в гимназию Пьера Зуалена!» – скандировала на площади Барр пестрая жизнерадостная толпа, в которую замешалось немало бродяг, карманников и бывших легионеров, словом, подонков квартала с его парой убогих кафе. Все это произошло в прелестный майский день, низкие деревца площади Барр уже оделись зеленым кружевом листвы, а гигантский каштан вдруг помолодел на сто лет. Гимназисты буйной толпой ворвались на площадь с Университетской улицы, смеясь, толкаясь, танцуя и распевая во все горло; девушки украсили себя цветами – одни вплели в косы незабудки или розы, другие размахивали пучками тюльпанов, сорванных в парках Уши и Монбенона, – а что такого, у нас всё принадлежит всем! И цветы – наши, и праздники – наши! Чего тут только не было – и веселые плакаты типа «Занимайтесь любовью!», «Долой преподавателей!», «Родители – уроды!», и другие призывы к любви и свободе – ни дать ни взять поэма Элюара. Длинные платья, босые ноги, затерханные джинсы, старозаветные мундиры, брошенные на берегу реки южанами в роковой день 6 апреля 1865 года*, и замечательные песни – «Партизан», «Интернационал», «Бандера росса», «Время цветения вишен», и испуганные люди на тротуарах, и местные пьянчужки, заросшие угольно-черной многодневной щетиной, и сердитый лавочник, сперва решивший вызвать полицию, а потом затянувший вместе со всеми «Время цветения вишен», и карлик, пулей вылетевший из кафе, – он никак не мог остановиться и врезался в группу «девушек в цвету», а врезавшись, давай дурачиться: ту обнимет, эту дернет за подол оранжевой юбки, а третью обхватит своими длинными ручищами и закружит в вальсе – высокую, стройную красавицу девчонку, о каких он и мечтать-то не смел.

Жан Кальме смотрел на все это с величайшим удовольствием. Присев у подножия замка на каменный бортик, огораживающий стоянку машин жандармерии, он восхищался синевой небосвода, этой пронзительной синевой, такой же веселой, как суматоха на площади, по-

*Имеется в виду американская война Севера и Юга, в которой южные штаты потерпели поражение. Очевидно, в ней участвовали и предки молодых швейцарцев.

смеивался над лозунгами, несущимися из мегафона, над гулом толпы, выслушал пламенную речь Зуалена и втайне одобрил ее. Но вдруг он обмер, и тоска сдавила ему горло: в самом центре возбужденной толпы он заприметил круглую корзиночку, так живо напомнившую ему сокровище Красной Шапочки. Он вгляделся: корзиночка опять мелькнула между чьими-то двумя фигурами; лица были скрыты транспарантами, но Жану Кальме удалось разглядеть золотистые косы под желто-белой шапочкой; сомнений не было – это Тереза. А что за юноша держит ее за руку? Да ведь это Марк, с его длинной черной гривой! Марк, возлюбленный маленькой покойницы из Креси, Марк-Орфей, которого сфотографировали лежащим на холодной могильной плите рядом с прозрачной Эвридикой, готовой уйти в Аид. А сейчас Марк держит за руку Терезу. Пестрый вихрь платьев и лент. Крики, взрывы смеха. Мегафоны призывают толпу перейти на Туннельную площадь. Через несколько минут молодежь с песнями удаляется, площадь Барр пустеет, и теперь на ней хозяйничает лишь весна.

Жан Кальме вновь увиделся с Терезой уже в «Епархии»; она рассказала ему о демонстрации, не словом не обмолвившись о Марке. Тереза решила вернуться в Школу изобразительных искусств, чтобы выучиться на декоратора, – такой диплом получить легче, чем преподавательский. Нет, в этот раз она не ездила в Монтрё. Она проведет там следующий уик-энд. Монтрё. . . Жану Кальме вспомнились ряды пальм на берегу сиреневого озера, зубчатые кровли готических особняков, расплавленное золото заката.

– Ты приедешь за мной в воскресенье вечером?

– Где тебя найти?

– Наверное, в «Аполлоне». Загляни туда на всякий случай. Я не собираюсь целый день сидеть у матери. Да, зайди в «Аполлон» часам к шести. Выпьем там и вернемся в Ситэ. Идет?

– Идет, – ответил Жан Кальме. Она всегда говорила «идет?» вместо «договорились?», и он перенял у нее это словцо. – А чем ты сегодня занималась?

Вместо ответа последовал уклончивый жест и улыбка, тут же стертая пробежавшим по губам язычком; о, кошечка, кошечка в прозрачной блузке, кошечка в медных и деревянных бусах, в арабских и афганских кольцах, кошечка с бронзовой шерсткой, возбуждающей сладкое безумие и острое ненасытное желание во влажной ночной тьме!

Затем они расстались. Жан Кальме пошел домой проверять тетради; он рано лег и тотчас заснул. Утром, проснувшись, он первым делом вспомнил о свидании, назначенном в воскресенье в Монтрё.

Было восемь часов, когда он приехал в гимназию. Поставив машину на площади Мерсери и выйдя со стоянки, он сразу заметил, что дело неладно. Какой-то незнакомец при виде его торопливо шмыгнул за угол. На бульварных скамейках были груды свалены транспаранты. Несколько подростков – скорее всего, ученики коллежа или первого класса гимназии – курили сигареты у входа в «Епархию».

В этот ранний, свежезеленый час, когда голуби на карнизах собора дарят первые поцелуи своим нежным ронсаровским подругам, Жан Кальме, милый молодой преподаватель Жан Кальме, даже представить себе не мог, что уготовило ему нынешнее утро, какое роковое воздействие окажет оно на его собственную жизнь, и без того подверженную угрозам и нападкам, способным кого угодно обречь на муки ада.

Как всегда по утрам, Жан Кальме читал «Трибюн». Потягивая теплый кофе, он листал газету, дивясь множеству гадостей, восхваляемых на ее серых страницах.

И вдруг разразился праздник.

Около сотни молодых людей ворвались на площадь Мерсери и расселись в нижнем дворе гимназии, хохоча и выкрикивая лозунги. Настоящий sit in – сидячее бдение, как в кампусах: юноши и девушки сидят прямо на земле, и преподаватели вынуждены перешагивать через

них, чтобы войти в здание. Несколько десятков парней, размахивая руками, заполнили верхний двор. Мегафон призывает гимназистов опротестовать решение директора и Департамента образования. Волнение, крики, суматоха. Группы молодежи собираются проникнуть в здание. Внезапно воцаряется тишина, все замирают: в дверях гимназии стоит господин Грапп; массивный, огромный, с блестящим черепом и черными очками на носу, он пристально, неотрывно смотрит на бунтовщиков. Но собравшихся пугает не столько грозная сила, исходящая от директора, сколько другое: рука господина Граппа сжимает необычный предмет – жуткий атрибут властителя, словно вышедший из мрачного средневековья; это хлыст, длинный кожаный плетеный хлыст, свернувшийся кольцом, как змея, готовая ужалить, с блестящей и толстой рукояткой-палицей. Мгновение общего ужаса, крик кого-то из парней; затем мегафон повторяет команду, и толпа манифестантов движется к порталу. Грапп шагает им навстречу. Он воздымает свой бич, и тот со свистом рвется к нападающим. Парни в изумлении отступают. Как они скажут позже, это не было страхом или почтением, они просто были ошеломлены, потрясены, подавлены, многих одолел нервный смех. Ален и Марк щелкают фотоаппаратами. Но хлыст непрерывно свистит в воздухе, а Грапп надвигается на толпу; внезапно группа подростков бросается вперед и врассыпную достигает главного входа. Грапп уже не владеет собой, он неистово мечется среди парней, хлещет то одного, то другого, преследует убегающих до деревянных барачков у западных ворот, бегом возвращается к главному portalу, догоняет подростков на улице Верхнего Ситэ, бежит назад и с размаху захлопывает и запирает решетчатые двери главного входа. Двор пуст. Господин Грапп одержал победу. Жан Кальме видел всю эту сцену из окна преподавательской. Он тоже ошеломлен. В последующие дни ученики расскажут ему подробности, не замеченные им сверху: господин Грапп, с пеной у рта, орал, как безумный; одному из учеников хлыст поранил глаз. . . Можно понять их панику: кто бы не испугался разъяренного великана, вооружившегося страшным плетеным бичом! На следующий же день карикатуры, снимки и протесты посыпались градом. Выходку директора описали в газете «Монд»; его портрет, с хлыстом в руке, появился в «Канар аншене», и эта слава – горестная, или доблестная, или смехотворная, но в любом случае громкая – снова всколыхнула и расколола на два враждующих лагеря всю страну.

Что такое хлыст? Жан Кальме размышлял над загадкой и свойствами этого орудия устрашения. Хлыст палача, хлыст любовника, хлыст наказующий и улаждающий. Хлестать до крови, возбуждать кровь. Удар хлыста. Этот кофе обжигает, как удар хлыста. Отхлестать непослушного мальчишку. Я тебя отхлещу, своих не узнаешь! Вот сейчас придет бука с хлыстом! Именно так весь город моментально прозвал Граппа. Однако на фотографиях и газетных снимках черные очки, голый шишковатый череп и зловещая ухмылка директора противоречили образу сказочного, не такого уж страшного буки. Он выглядел просто-напросто безжалостным садистом, и его атлетическая фигура с мощными плечами, бычьей шеей и волосатыми ручищами усиливала это жутковатое впечатление. Глядя на скверные, размазанные газетные снимки, делавшие злодейским любое лицо, читатели, даже вовсе не знакомые с господином Граппом, тотчас угадывали его всепокрушающую силу и яростный холерический темперамент, от которого становилось не по себе. В этом человеке было что-то почти непристойное.

Однажды ночью Жан Кальме увидел во сне хлыст, закричал, проснулся, устыдился своего страха и решил держать себя в руках. Увы, все напрасно: после скандала директор Грапп словно бы еще увеличился в размерах, и вся нелепость, все безумие той сцены таинственным образом укрепили непостижимую грубую власть, которой так боялся Жан Кальме. Почти ежедневно он беседовал на эту тему в «Епархии» со своими учениками и заметил, что они реагировали на случившееся точно так же, расценив удары хлыста как отеческое предупреждение, знак свыше. Как бы они ни отнеслись к этому – с гневом, обидой или просто иронией,

– им пришлось оставить поле боя, бежать под угрозой страшного свистящего бича. Но испугались они не столько этой конкретной плетки, сколько ее знаковой власти, защищавшей установленный Отцами порядок, и факт смирения – не перед хлыстом, но перед этой властью! – внешне раздражая их, втайне утешал. Власть проявила, прославила себя этим своим атрибутом; что ж, это нормально. Значит, можно оставаться детьми, поскольку ими правит Отец. Поскольку он бдителен. Поскольку он доказал, как страшен в своем гневе и могуществе.

Зевс! Юпитер-громовержец! Из глубины веков возникало множество аналогий этой отцовской власти. Наместник Бога на земле, Бог-Король, Отец государства, князь-отец своих подданных, и сколько еще ипостасей *pater familias*, доброго, но строгого, строгого, но справедливого!

В один из этих дней в классе решили отставить «Золотого осла», чтобы еще раз обсудить недавние события, и Жан Кальме снова понял, как глубоко затронули они каждого из учеников. И не потому, что те наслушались лозунгов и начитались плакатов: просто они открыли для себя Независимость, и чувство свободы странным образом утешало и укрепляло их.

В то утро Жан Кальме часто поглядывал со своей кафедры на Марка, который, напротив, избегал смотреть в его сторону. Марк сидит в глубине класса, в дальнем от окон ряду, возле Сандрины Дюдан. Марк и Сандрина – дружная парочка, вместе занимаются, вместе валяют дурака, рисуют, снимают фильмы. Сандрина маленькая, чернявая, проворная, настоящая горная козочка. Значит, Марк его избегает. . . Это не давало покоя Жану Кальме: с самой первой демонстрации Марк оставлял у Терезы недвусмысленные следы своих визитов – папку, шарф, записную книжку, – а то и вовсе нахальные улики, например изданные в «Плеядах» «Греческие и латинские романы», которые дал ему почитать Жан Кальме. Еще с порога Жан Кальме признал плотный зеленый том, лежавший на единственном стуле, возле разобранной кровати.

– Кто тебе дал эту книгу? – спросил, задыхаясь, Жан Кальме. Он даже не поздоровался с Терезой, не взял ее за руку, не коснулся поцелуем виска под пушистыми волосами.

– Да твой ученик, Марк. Мне захотелось прочесть «Золотого осла». Вы все столько о нем говорите. . .

– Могла бы попросить у меня.

И Жан Кальме задал вопрос, который жег ему язык:

– Он принес его сюда, к тебе?

– Да просто забыл, когда уходил. Тебе это неприятно?

Шлюха! Ну вот. Все кончено. У меня больше ничего не осталось. Марк. . . Жан Кальме вспоминает красивое дерзкое лицо, длинную, ниспадающую со лба прядь волос, нежные и жгучие глаза, медленную поступь и жесты, такие чистые, такие любовные, на могильной плите в Креси. . . У него разрывается сердце от боли.

– Он провел здесь ночь?

– Господи Боже! Жан, мне девятнадцать лет! Я делаю то, что хочу, понимаешь, то-что-хочу!

Ее глаза мечут молнии. Она гневно плюет, она собирается в комок, вот сейчас она прыгнет, эта дикая кошка. Марк, сидящий на золотистом покрывале. Марк и ее кукольные кофейные чашечки. Марк в теплой ложбине постели, Марк, распятый руками Терезы, златовласого вампира, прельстительной демоницы, восседающей на нем. Маленькая комнатка превратилась в проклятый замок на вершине горы, среди дремучего леса, куда злой дух привлекает несчастных путников! Колдунья, мучительница, ведьма в кошачьей шкуре похищает юношей со всей округи и наслаждается их плотью, и блаженствует, кровопийца ненасытная!

Но Тереза не набрасывается на него.

– Иди сюда, – просто говорит она.

И Жан Кальме подходит к ней.

Тереза открывает ему объятия, прижимает к себе, трется губами о шею, уже слегка колючую от щетины, ведет к расстеленной кровати. Пять часов вечера; по улицам, верно, уже снуют озабоченные, спешащие домой люди. Тереза укладывает Жана Кальме, как ребенка, не спеша раздевает его, укрывает простыней и толстой периной, раздевается сама, ложится на него сверху, и вот он в убежище ее белокурой ночи, и вот уже его ласкает быстрый, как летний дождь, язычок. А взгляд Марка по-прежнему уклончив. Зачарованный Жан Кальме не может отвести глаза от красивой темнокудрой головы, от буйной пряди на лбу. . . Где он был прошлой ночью? Не в этой ли комнатке Нижнего Ситэ? Да, наверняка они здесь занимались любовью. Стоит отвернуться, и они сойдутся вновь. Марку восемнадцать лет, Терезе девятнадцать. . .

Класс гудел, как растревоженный улей. Ребята кричали, перебивали друг друга. Нарастающее возбуждение окрашивало гневным румянцем щеки; Жан Кальме даже не пытался быть арбитром в этой бурной дискуссии. Он стоял, прислонясь к стене в глубине класса, как раз возле Марка, касаясь локтем его грубошерстного свитера, и юноша не отодвигался, замер, словно его сморила усталость. Он очнулся только в «Епархии», за столом Жана Кальме, в тот миг, когда соборные колокола прозвонили полдень и на пороге, в сиянии солнца, возникла Тереза; окинув взглядом сумрачный, как пещера, зал, она заметила их и подошла.

– Здравствуйте, господин преподаватель. Здравствуй, Марк! – сказала она, смеясь.

На голове у Терезы был желто-белый кашемировый платок, делавший ее похожей на Богоматерь с иконы.

– Здравствуй, Марк. . .

Все трое знали. Жан Кальме следил за их глазами. Веселые дети. Гимназист и студентка Школы изобразительных искусств. Они пообедали втроем. Тереза, Марк и Жан Кальме. Потом снова начались занятия, а Жан Кальме, у которого был свободный день, вернулся домой – писать письма и проверять школьные тетради.

В пять часов он вышел, чтобы выпить пива. В кафе на площади Салла какой-то молодой человек, сидя за столом, изучал Библию. Бородатый коренастый очкарик, лет двадцати с лишним. Он вдумчиво читал библейские тексты, делал выписки в блокноте тоненьким серебристым карандашом, ставил галочки на полях книги или подчеркивал целые абзацы, пользуясь при этом карманной линейкой, на манер математиков и геометров. Жан Кальме смотрел на него с завистью: невзирая на шум и гам, бородач с головой ушел в чтение, упиваясь словом Божиим, как отшельник в своей пещере. От него веяло сдержанной силой и безмятежностью ученого. Кто же он – студент-богослов, пастор в каком-нибудь из приходов Салла или Шайи? Была пятница. Наверное, он готовится к воскресной проповеди. А может, это один из бесчисленных евангелистов, что колесят по стране, вербуя в свои ряды молодежь и основывая всякие непонятные общества, которые сами же быстренько и покидают в поисках более уютных мест? Нет, этот выглядел слишком серьезным для столь сомнительной роли. Значит, воспитатель? Капеллан в учебном заведении? Например, в Воспитательном доме Венна? Жан Кальме вздрогнул. Веннский дом был постоянным пугалом времен его детства, «Смотри, не будешь слушаться, отдадим тебя в Венн!» – «Ах, этот мальчишка! – говорила мать одного из отцовских пациентов, портового рабочего в Подексе, у которого были проблемы с сыном. – Его, конечно, отдали в Венн!» Тогда Веннский дом называли Исправительным заведением; Жану Кальме он представлялся скопищем голых, в язвах и ранах, детей, которых палачи-взрослые секли розгами и хлыстами. И наверное, совсем как на картинке, которую Жан Кальме видел в одной старой английской книге доктора, мальчики были привязаны к своим кроватям или прикованы цепями к стене, а великаны-воспитатели, злорадно хохоча, стегали их кнутами.

Но в этом бородатом молодом человеке не было ровно ничего от палача. Он с явным удовольствием читал Библию, и Жан Кальме восхищался тем, что спустя тысячелетия речи Моисея, Давида или Соломона могут пленить и одарить свежей силой чье-то сердце; что притча об Иисусе способна преподать самые злободневные истины; что рассказы учеников или послания святого Павла звучат так же убедительно, как любой современный факт. Дыхание древности овевало столы, заставленные бутылками пива и белого вина. Голоса веков наполнили гулом просторный зал: Бог-поэт, Бог мертвых говорил с живыми через эту маленькую Библию в бордовом переплете, лежащую открытой возле кружки с пивом, и бесчисленные герои Ветхого Завета, а вслед за ними скорбные и ликующие евангелисты повторяли слово Учителя, разнося его эхом по шумному залу.

Застыв, Жан Кальме мгновенно погрузился в какой-то трагический экстаз, так, словно он уже долгие месяцы ожидал его. Вспыхнули огнем кусты. Венчики цветов налились кровью. Мириады лягушек заполнили улицы и проникли в дома. Тучи комаров вылетели из дорожной пыли. Майские стада полегли на обочинах, и пастбища Жора обратились в зловонную свалку падали. Гнойники и язвы покрыли тела всех, кого Жан Кальме когда-либо видел или касался, словно им полагалась кара за общение с этим страшным грешником. Огромная туча с градом внезапно накрыла всю страну, истребив на лугах уже высокую траву с колокольчиками, а в садах – цвет на деревьях. Затем буйный вихрь принес тучи саранчи, которая сгубила города и веси, нападая на любого, кто осмеливался выйти из дома. Все ученики и их родители, все знакомые Жана Кальме стояли, полумертвые, на коленях, вопя и взывая о милосердии, в густой кромешной тьме, окутавшей все вокруг. В этом непроницаемом зловещем мраке все первенцы погибли в единый миг, и Жан Кальме порадовался тому, что он младший в семье и ему хоть на сей раз удалось избежать гнева Господня.

А бородач все читал и читал Библию.

Жан Кальме давно уже допил свой бокал. Где сейчас Марк? Где Тереза? Может, занимаются любовью в постели с золотистым покрывалом? Голые, задыхающиеся, быстрые, они сливаются воедино свои молодые дыхания, свою слюну и каждые сорок пять минут слышат со своего ложа школьный звонок из гимназии. Жан Кальме не сердился на них. Он просто страдал от невыносимой боли. Словно раскаленная игла пронзила ему сердце, когда он представил себе их сплетенные руки, черные подмышки Марка, прижатые к белокурым подмышкам Терезы. Словно острый нож распорол ему мозг при воспоминании о ее гладком, упругом серебристом животе с маленьким, детским пупком. Словно тяжелый топор обрушился на его запястья и рассек их до костей в тот миг, когда он мысленно увидел розовые ногти на ноге, которую Тереза протягивала ему со словами: «Укуси меня, возьми в рот мои пальцы; так делал отец, когда я была маленькой; он кричал: «Я тебя съем! Ах, как я голоден, как я голоден, вот сейчас проглочу тебя всю целиком!» – и хватал меня губами за ногу, а мне было щекотно и страшно: вдруг он и вправду меня проглотит!»

Этот образ пробуждал странные воспоминания у самого Жана Кальме. Очень давняя игра – ему было, наверное, три-четыре года, и с тех пор он не мог без дрожи слушать свист ножа, который точили на жестком ремне. Доктор только что вернулся с обхода; его красное лицо лоснилось от пота, волосы слиплись под дождем. Ужин уже кончился, старшие дети поднялись наверх, служанка мыла посуду; в столовой остались только Жан Кальме и его мать. Ребенок, напевая, раскрашивал картинки в альбоме. Госпожа Кальме вязала. Вдруг послышался рев мотора. Хлопнула калитка, под тяжелыми торопливыми шагами заскрипел гравий. Возня в прихожей, затем отец входит в столовую. Его прибор ждет на конце стола, под часами в высоком, выше доктора, футляре. Он хлопает жену по плечу, берет на руки Жана Кальме, тормошит его, тискает, целует, одним махом исправляет его рисунок, насмехается, опять целует и, наконец, оставляет в покое; мальчик так и замирает в трансе перед проголодавшимся едоком. Госпожа Кальме приносит мясо, подливает вина в стакан.

– Ну, чего ты торчишь тут как вкопанный! – ревет доктор, пристально глядя в глаза Жану Кальме и шумно пережевывая мясо крепкими зубами. Наступает пауза; свирепый взгляд не отпускает мальчика. – Я тебя съем, если ты сейчас не убежишь. Съем тебя на ужин, слышишь, дурачок?

Но Жан Кальме не может бежать. Да ему и не хочется. Он знает продолжение, он ждет, дрожа от удовольствия и страха.

– Ах так, значит, не хочешь прятаться? Ну, тогда берегись!

Доктор хватает большой нож для мяса и свирепо размахивает им; острое лезвие блестит красиво и страшно. Взяв в другую руку столовый ножик, он начинает медленно, тщательно точить их один об другой, строя при том злобные гримасы, вращая глазами, ощерясь и плотоядно облизываясь.

– Ага! Ага! – кричит он страшным басом. – Попался, мальчик с пальчик, сейчас я тебя съем на закуску к ужину! Вот только наточу свой большой нож!

Жан Кальме с восторгом глядит на сверкающее лезвие.

– Слушай же, как точится сталь, как звенят мои ножи!

И Жан Кальме восхищенно вслушивается в зловещий свист двух лезвий.

– Ага, ага, вот сейчас толстый людоед съест маленького мальчика, который один гулял по лесу!

Доктор все еще строит ужасные рожи. Вдруг он ловко хватается Жана Кальме за шиворот, сжимает его меж колен и приставляет холодное лезвие к его горлу.

– Ага, попался, ягненок! – кричит он. – Вот сейчас мы ему вспорем горлышко! Сейчас мы ему пустим кровь, этому малышу!

Лезвие чуточку колется, доктор слегка нажимает на него – но это же игра! – и острая сталь на какой-то миллиметр вонзается в кожу, повредив несколько мелких сосудов. Левая рука доктора крепко держит хрупкое детское плечико. Правая водит ножом по белой шейке. Палач свирепо рычит. Его покорная жертва трепещет и тает от удовольствия. Госпожа Кальме, сидя в глубине комнаты, в тени, созерцает эту ритуальную сцену застывшим, ничего не выражающим взглядом.

Наконец доктор отпускает мальчика и как ни в чем не бывало заканчивает ужин. Игра окончена. К тому же пора ложиться спать. Жан Кальме целует отца в щеку, и мать уводит его наверх, в спальню, где и укладывает после короткого вечернего туалета. . .

Жан Кальме заплатил за пиво и вышел. Уже зажигались фонари. Тереза и Марк, наверное, спят. Жан Кальме вернулся домой и задумчиво присел к письменному столу; по иронии случая, первым в стопке письменных работ лежал листок Марка. Жан Кальме прочел вслух: Марк Барро, класс 2-й «Г», классическое отделение, перевод с латыни. Марк Туллий Цицерон, «De finibus». Взяв листок, он положил его перед собой и начал устало подчеркивать красным ошибки и несоответствия, виной которых было любовное изнеможение его счастливого соперника.

Все утро следующего, субботнего дня было посвящено срочно созванной учительской конференции, проходившей на редкость торжественно. Господин Грапп организовал ее, дабы обсудить причины растущего беспокойства преподавателей в связи с недавними событиями, резкой враждебностью учащихся и их взволнованных родителей. Это было весьма тягостное мероприятие для Жана Кальме, который молча боролся со своим комплексом вины, сидя в глубине зала с деревянными панелями, голого и строгого, как протестантский храм. На стульях, выстроенных рядами, как в театре, с мрачным видом восседало около сотни его коллег. Даже самые молодые держались крайне серьезно и напряженно. Все присутствующие либо были женаты, либо собирались жениться в скором времени; сидевшим тут же несколькими преподавателям женского пола брак уже явно не грозил. И только он, Жан Кальме, соперничал в любви к студентке Школы изобразительных искусств с одним из собственных учеников. Шум в зале. Грохот отодвигаемых стульев. Ровно в восемь часов четырнадцать минут вошел директор, и в зале настала мертвая тишина. Господин Грапп уселся за большой стол в президиуме, среди деканов. Секретарь деловито раскладывал свои бумаги.

Господин Грапп вел собрание громким уверенным голосом, и воспоминание о недавнем подвиге придавало его речам еще большую убедительность. По мере того как он говорил, разбирая случившееся, анализируя обстоятельства, оценивая реакцию властей и участников события, его магическое воздействие на аудиторию заставляло утихнуть самых ярких скептиков-леваков; смешки и остроты мало-помалу сменялись озабоченностью. Грапп был депутатом Государственного совета, полковником генерального штаба, он умел подчинять себе слушателей, а его внушительная стокилограммовая фигура (вдобавок он говорил стоя) окончательно подавляла собравшихся, отбивая у них охоту протестовать. Жан Кальме, с трудом скрывая панику под бесстрашной личиной, мысленно измерял ширину пропасти, отделявшей его от этого великана и большинства коллег. Все они стояли на страже порядка, не допустившего ни малейших отклонений от нормы. «Что же я такое? – вопрошал себя Жан Кальме. – Я блуждаю во мраке. Я путаюсь. Я сбиваюсь. Я теряюсь. За все это меня презирал отец. Я люблю девочку, которая в два раза младше меня. Я оспариваю ее у собственного ученика. Одного этого достаточно, чтобы навеки покрыть себя позором перед моими товарищами и «священным синодом» Департамента образования. Да и девушка хороша! Вульгарна, распущенна, весьма свободного поведения. Нечего сказать, прекрасный выбор! Что же я делаю среди этих людей? Ведь я их обманываю. И буду за это наказан. Почему Грапп не сводит с меня глаз? Почему они все оборачиваются ко мне? Наверное, видят, что я боюсь. Наверное, я позеленел от страха, от сознания мерзости своих делишек. Хотя, собственно, чем они так уж мерзки? Терезе как-никак девятнадцать. Сам я холостяк. Разве это возбраняется законом? Или вот я обедаю в «Епархии» вместе с учениками. Ну и что, разве я причиняю им какой-то вред? Напротив. Тогда откуда же этот страх? Меня раскусили, разгадали! Директор все смотрит и смотрит на меня. Он снял свои черные очки, держит их в руке, и я вижу его глаза, его пристальный взгляд. Это он специально для меня говорит так громко. Это он меня предупреждает, мне грозит! Я весь взмок, точно пьяница, которого вырвало и от которого так несет блевотиной, что окружающих тоже начинает тошнить. От меня несет блевотиной страха. Вот он, мой удел. . . » И Жан Кальме, забыв о том, что он считается опытным преподавателем латыни, что его любят ученики, что он верой и правдой служит гимназии, терзает и казнит себя, сидя в глубине зала, пока директор отвечает на вопросы собравшихся.

Теперь берет слово великий латинист Сильвен Готье. Сухопарый господин с седыми усами ожесточенно излагает аудитории свои доводы. Вот уж этот не уступит никому! Жан Кальме учился у него, будучи в коллеже, ему хорошо знаком нрав этого сурового и неподкупного старого римлянина. Стоит Сильвену бросить взгляд на Жана Кальме, как тот испуганно съеживается, точно он и сейчас сидит в младшем классе за партой, подвергаясь бесконечным допросам по поводу Вергилия или Цицерона. Следом выступил Верре, сказавший всего несколько слов, притом весьма бессвязно. За ним маленький Баймберг, математик; напористый, даже агрессивный, с крутыми завитками над высоким лбом, он разразился резкой критической речью, произнесенной с пылом истинного трибуна. Красавец эллинист Уллигер спокойно и невозмутимо проанализировал ситуацию. Дамы влюбленно взирали на его серебристые виски. Наконец, слово взял Жакку; когда он поднялся с места в своем канареечном жилете и оранжевом пиджаке и начал выступление, грозно сверкая очками, уверенным, непререкаемым тоном, присутствующие сразу вообразили его в роли нового директора. Жан Кальме восхищался им – и молчал. Все проголосовали – раз, другой. Шарль Авене, идадьго с аристократическими манерами и длинной шеей изысканного писателя, встал и объявил, что ровно ничего не понимает в происходящем. Жан Кальме невольно ухмыльнулся, но так и не осмелился раскрыть рот. У него болела голова; он сидел в последнем ряду просторного акто-

вого зала, весь в испарине, терзаясь вопросом: отчего он так не похож на всех этих честных праведников.

Собрание продолжалось все утро. В полдень Жан Кальме, совершенно измотанный, пошел домой, свалился и заснул. Ему привиделись дурные сны. По пробуждении он вспомнил один из них: он бежит, раздетый догола, по двору гимназии, привратник ловит его и несет, возмущенно жестикулируя, в учительскую, где он, невзирая на стыд и наготу, вынужден произнести речь перед коллегами, которые, уж конечно, никогда не простят ему этого позора. Директор Грапп запирается вместе с ним у себя в кабинете, сочувственно разглядывает его и, наконец, одалживает офицерскую шинель, чтобы Жан Кальме мог добраться до дома.

Воскресенье, Монтрё. С одной стороны горы – там голуби ныряют в зеленое море листы; с другой – озеро, там лебеди и чайки воют за добычу в пенистой воде с барашками, поднятыми холодным ветром. Мрачное прибытие: с самого Кларана по берегу нескончаемой чередой тянутся мифологические здания с башнями, зубчатыми стенами, эркерами, галереями, бойницами, балконами и балкончиками, нависающими над пальмовыми кущами, – отель «Руссо», отель «Тильда», отель «Лориус», величественный «Монтрё-палас», увешанный швейцарскими флагами, хлопающими на ветру, а позади горы, чьи серебристые снежные вершины нестерпимо слепят глаза; и снова отели – «Казино», небоскреб «Евротея», «Лондон», «Отель дю Парк», «Райский уголок», «Метрополь». . . Сердце города.

Жан Кальме ставит машину у крытого рынка; это сооружение с металлическим навесом, железными стойками и болтами, похожими на смеющиеся мордочки, напоминает не то опереточный вокзал, не то призрак пагоды. Жан Кальме шагает по набережной: малорослые пальмы с вздетыми кверху ветвями – точь-в-точь перевернутая метла, – цветущие магнолии, звездочки нарциссов, пушистые шарики мимозы, дрожащие, точно вылупившиеся цыплята, сиренево-черные тюльпаны, розовый гравий, и вдруг, рядом с шале под серой черепицей, в типично бернском стиле – нечто похожее на мечеть, крытую узорчатой бело-голубой керамической плиткой, – дерзкий, неуместный в этой мирной озерной бухте символ буйного Востока, с его песками, обезумевшими верблюдами, кровной мстью, ятаганами и священной войной-джихадам в дебрях темного средневековья. Над дверью здания выведено «Хоггар». Жан Кальме поднимается по ступеням, входит в подобие храма с белыми резными стенами и белым куполом, откуда свисают темные латунные светильники. Холодный каменный пол изукрашен мозаикой звезд, лун, изумрудных арабесок, от которых трудно оторвать взгляд. На подносах разложены кубики рахат-лукума. В нишах поблескивают желтые и голубые гаргулеты*. В глубине, за решетками, прячутся круглые часовенки. Гнусавая восточная мелодия, размеченная монотонными ударами тамбурина, льется нескончаемой струйкой, заполняя все углы помещения. В простоте душевной Жан Кальме заказывает девушке в плотной парандже, с темно-фиолетовым (как лепестки тюльпанов у озера) лаком на ногтях, самое гнусное пойло в мире – мятный чай – и принуждает себя выпить его, заедая кусочком тошнотворно-сладкого, вязкого рахат-лукума.

Потом он выходит. Над Савойей, с той стороны озера, простирается шелковисто-ясное, ослепительное небо.

Чайки носятся над водой стремительными серебристыми прочерками. Стая голубей, шумно и суетливо хлопая крыльями, летает над старинными зданиями с неаполитанской черепицей, над стылой водой канала. Улицы почти безлюдны. Озеро отливает зеленью. Холодный ветер вздымает волны – миниатюрные Альпы между красными и синими яхтами, чьи номера сплошь начинаются с «В» – кантон Во. Вдали, у французского берега, пыхтит, торопится куда-то крошечный катерок. Ветер ожесточенно теребит красные знамена с белым крестом над крышами отелей. Чайки пронзительно кричат, ныряют и снова кричат. Жан Кальме никуда не торопится. Свидание с Терезой назначено на шесть часов.

Он находит ее в «Аполлоне». Она ждет его, сидя за столиком у окна. Войдя, он сразу же замечает ее силуэт на фоне озера и лазоревого неба, как раз на уровне кровли рынка, где гоняются друг за другом голуби. Маленькая ивовая корзиночка стоит рядом с Терезой на скамье, голова покрыта все тем же «платком Богоматери»; она читает книжку в мягком переплете.

Жан Кальме подходит, она поднимает на него спокойные зеленые глаза, он наклоняется,

*Пористые сосуды, охлаждающие жидкость путем испарения.

легонько целует ее в губы и садится рядом, положив руку на круглую корзинку.

– Ну, как твоя мама?

– Знаешь, я ее почти не видела; с ней вечная история: она жалуется, что я ее забросила, но стоит мне приехать, как она исчезает, – то ей нужно увидаться с подругами, то еще что-нибудь; можно подумать, она нарочно ждет выходных, чтобы бегать по городу.

– И чем же ты занималась, Тереза?

– Спала, читала, ела, прогулялась по Монтрё. Знаешь, мне как-то странно бывать здесь. Сразу вспоминается детство. Я даже заглянула во двор своего коллежа. Глупо, правда? Вот такая я – сентиментальная дурочка. . . А потом я нарисовала одну штуку. Гляди, я принесла тебе показать.

Она разворачивает листок, заложенный в книгу, и кладет его перед Жаном Кальме. Это кошка, нарисованная зеленым шариковым карандашом, два огромных кошачьих глаза с белыми искрами зрачков устремлены прямо на Жана Кальме. Сперва он замечает только эти расширенные блестящие безжалостные зрачки. Кот-Инквизитор. Кот-Судья. Отвратительно! Потом он видит пушистую мордочку, острые уши, усы веером; зеленая паста сплошь разрисовала, взъерошила, исчертила зверя тонкими штрихами, идущими до самых краев листка, так что трудно даже разобрать, где кончается изображение. Кот-Колдун. Недобрый глаз. Внизу, под отвратительным зверем, что-то мелко написано. Жан Кальме едва разбирает буквы в путанице линий: «Нарисовано в Монтрё ночью, у открытого окна». Он тотчас спрашивает себя, что означают эти вроде бы невинные слова. Но в любом случае кот омерзителен; Жан Кальме молча складывает листок вчетверо и сует его в бумажник.

– Извини, я на минутку, – говорит Тереза, встает и направляется к туалету.

Оставшись один, Жан Кальме снова кладет руку на круглую корзиночку. Он поглаживает упругие ивовые бока, выпуклую крышку, прикрепленную к ручке. Его пальцы скользят по выступам и углублениям между прутьями, он думает о Красной Шапочке в лесу, с корзинкой на руке, в которой лежит подарок, – любимый до боли образ из детства: темные ели, сумрачный вечер, маленькие сапожки, топочущие по лесной дороге, и учащенное дыхание девочки, торопящейся обогнать близкую ночь. . . Сколько же маленьких корзиночек несут в этот миг девочки, и в скольких лесах! Сколько волков подстерегают свою добычу! Красная Шапочка пускается бежать, она еле дышит от усталости. А бабушкин дом еще так далеко! Жану Кальме мерещатся ясные голубые детские глазки, потемневшие от испуга, курносый нос морщится, рот, где не хватает одного, недавно выпавшего, молочного зуба, кривится, и из него вот-вот вырвутся рыдания. . .

Тереза все не возвращается. Жан Кальме ставит корзиночку себе на колени, открывает ее, бросает взгляд на запиханные в беспорядке вещи. Сверху лежит мятый носовой платок с инициалами М.Б. Один вид этого предмета больно ранит Жана Кальме. Он хватается за него: тот слипся в жесткий, будто накрахмаленный, комок. Он подносит его к лицу – от платка пахнет засохшей спермой. Ему знаком этот запах, запах скисшего молока, вяленой рыбы, лихорадочной ночи!.. Платок, пропитанный спермой. Спермой Марка. Его ученика из 2-го «Г» класса, классического отделения. Марк Барро, восемнадцать лет, авеню Бомон, 57, Лозанна. Жан Кальме кладет на место жесткий комок, закрывает крышку, ставит корзинку на скамью.

Тереза выходит наконец из туалета, издали улыбается ему. Он видит ее гибкую фигурку, свободные движения, длинные, разметавшиеся по хрупким плечам волосы. Она садится.

– Ну что, может, прогуляемся? – спрашивает она.

Жан Кальме кашляет, прочищая сжавшееся горло.

– Ты виделась с Марком в эти выходные?

– Да, он заходил вчера. Суббота – веселый денек, всюду танцульки, карусели. . .

Итак, она не солгала. Она сказала это с обычной своей естественной простотой, ранившей Жана Кальме в самое сердце. Значит, он потерял ее. Теперь он это знает. Знает, что навсегда запомнит это ужасное мгновение, когда пол словно рухнул у него под ногами и качнулись стены вокруг. И навсегда запомнит он все, что увидел в ту минуту в окно кафе:

продавца мороженого с его белой тележкой,

«мерседес» с немецкими номерными знаками, ползущий с черепашьей скоростью вдоль тротуара в поисках парковки,

контролера автомобильной стоянки с карандашом за ухом,

пальмы на набережной, багровый солнечный диск в огненном небе.

Тереза молчит. Жан Кальме тоже не раскрывает рта. Заплатив, он встает, распахивает перед Терезой дверь. Они выходят на площадь. Его машина в двух шагах отсюда. Пока они едут, Тереза держит корзинку на коленях, прижимая к себе, как мать своего младенца. Полчаса в пути. Наконец Жан Кальме подвозит ее к дому в Ситэ. Ее глаза полны слез.

– Зайдешь на минутку? Он тает.

Он спасен. Закрыв машину, он идет за Терезой по узкой лестнице. Ее дверь. Ее ключ. Они входят. Тереза ставит корзинку наземь, быстро зажигает свечу, и покрывало на кровати вспыхивает всеми своими золотыми бликами.

Они ложатся, прижавшись друг к другу, и Жан Кальме вновь обретает в пушистых волосах, лабиринте ушей и атласной округлости девичьей шеи ароматы корицы, легкого дыхания, цветущих берегов озера под полуденным солнцем, янтарного «огненного» камня, который добывают в карьерах, – если стукнуть им о другой такой же, они высекут легкий дымок с запахом древнего пламени первых катаклизмов планеты.

Розоватый сумрак комнаты меркнет, огонек свечи колеблется под сквозняком.

Блаженство. Жан Кальме снова распят на постели, Тереза ложится сверху, приникает к нему и долго, долго и нежно, пожирает его, затем, разняв объятия, привстает на коленях, свешивается с кровати и что-то ищет в темноте; он знает, что именно, он видит даже с закрытыми глазами, как она нащупывает корзиночку, открывает ее, достает платок Марка и проворно вытирается им; засохший платок жестко шуршит во влажной тьме.

Марк. Как раз завтра Жан Кальме встретится с ним на первом уроке, они будут читать продолжение «Метаморфоз» Апулея. Как странно, в эту минуту мысль о Марке уже не причиняет ему боли. И Тереза, Кошечка, ведьма, суккуб, злая обольстительная фея снова ложится рядом, сунув платок под подушку; Жан Кальме нащупывает его там – жесткий, слипшийся комок, расплющенный тяжестью головки с золотыми волосами. Свеча все еще горит. Жан Кальме придвигает ее, дует на пламя, и оно гаснет, оставив после себя запах горячего воска и жженого фитиля, – запах Рождества, шепчет Тереза. Они засыпают. Этой ночью Жана Кальме не будут мучить кошмары.

Жан Кальме уже давно не виделся с матерью; он боялся этих встреч и страдал от собственной трусости. В следующий четверг, свой свободный день, он все же поехал в «Тополя». Они беседовали целый час, мать хотела знать все: как живет ее Жану, где он питается, отдает ли белье в стирку. Затем она рассказала ему о братьях и сестрах – слегка путаясь и повторяясь, глядя на него маленькими круглыми невыразительными глазками, – робкая серая мышь. Пока она готовила чай в кухне, Жан Кальме заметил на веранде, среди коробок с шитьем и вязаньем, развернутую газету. «Кремация», орган водуазского Общества кремаций, выходит четыре раза в год.

– Это еще что за диковина? – спросил он у матери, крайне заинтригованный.

– Я получаю ее с тех пор, как умер папа. Знаешь, я теперь состою в этом обществе; взнос всего двадцать франков в год, и они занимаются всеми формальностями в крематории, улаживают дела с оплатой и все такое. Представляешь? Вместо того чтобы выкладывать, как все, восемьсот или тысячу франков, платишь всего двадцать – это же как выгодно! Жаль, что мы не знали об этом до папиной смерти. Они пришли ко мне как раз после похорон. . .

Жан Кальме гадливо передернулся. Он заглянул в газету, и в глаза ему тотчас бросился девиз общества – тот же самый латинский девиз, что украшал фронтон крематория:

PER IGNEM AD PACEM*

Девиз был украшен мрачной виньеткой из языков пламени, похожих на огоньки спиртовки, на черном фоне.

– И ты это читаешь? – спросил он.

– От слова до слова, – ответила мать. – Тут все подробно описано, так интересно!

Жан Кальме снова вздрогнул. На веранде, разогретой солнцем, было жарко и душно, он весь вспотел, его мутило от сладкого чая. Раскрыв газетку, он прочел:

«В случае кончины за пределами кантона Во (Швейцария) или за границей наше общество возмещает семье покойного все расходы, как если бы кремация состоялась в самом кантоне, а именно: стоимость кремации, стоимость гроба, расходы по доставке тела от водуазской границы до ближайшего крематория, услуги органиста. . .

По вопросу доставки праха: его можно прислать в Швейцарию почтой, без всяких проблем. . . »

Жан Кальме представил себе лицо почтальона в тот миг, когда из запечатанного пакета вдруг потечет струйка мелкого бархатистого пепла, который придется срочно собирать, дабы вручить родственникам усопшего. Ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы вспомнить, что прах его отца надежно заперт в урне за решеткой колумбария и его неприкосновенность гарантируют администрация кладбища и полиция. Он снова обратился к газете. На первой странице красовалось стихотворение «Последний огонь», сочиненное одним из членов общества. Оно заканчивалось следующими строчками:

Когда огонь нас пожирает,
Мы тотчас обратимся в прах!
Но коли в землю закопают,
То что останется в гробах?

*Через огонь к вечному покою (лат.).

Так не принудим же в земле копаться
Тех, кому Бог велел на ней остаться!

Жан Кальме отшвырнул кошмарный листок, но мать тут же подняла его, бережно сложила и вернула на прежнее, самое видное место на столе. Жан Кальме невольно прочел еще один отрывок, на который лег луч послеполуденного солнца:

«Поговорим в первую очередь о Франции. В Париже зал прощальных церемоний рассчитан на 200 мест (стульев и кресел). Он роскошно декорирован мозаикой и скульптурной композицией «Возврат к вечности». Одна из статей декрета от 31 декабря 1941 года гласит: «Тотчас после кремации прах должен быть собран и помещен в урну в присутствии родных и близких». Поэтому означенные лица не покидают крематорий до окончания этой процедуры. Ожидание составляет 50-60 минут».

Оторвавшись от чтения, Жан Кальме глотнул чая и снова взялся за газету:

«Страсбург. Здесь имеются две часовни, одна на 300, другая на 80 мест. Большой зал оснащен органом, малый фисгармонией. Но вне зависимости от избранного места, церемонии проводятся абсолютно одинаково.

Накануне или за два дня до кремации гроб с телом покойного помещается в холодильную камеру крематория. За час до начала церемонии его ставят на катафалк под черным, расшитым серебром покрывалом. В распоряжение присутствующих предоставляется кафедра для религиозных или светских прощальных речей. Сопровождение на органе или фисгармонии платное. Страсбург не имеет собственного колумбария».

Теперь Жан Кальме уже заинтересовался. Над высокими стоячими часами возник массивный призрак доктора.

«Марсель. Гроб, покрытый черным покрывалом с золотой бахромой, ставится на катафалк в центре большого зала со скамьями, где могут разместиться двести человек. Удобно расположенная кафедра позволяет выступающим быть услышанными во всех уголках помещения. Музыкальное сопровождение здесь не принято. Гроб переносят на руках в соседнее помещение, где находятся печи.

После этого присутствующие могут удалиться, но могут также и подождать (примерно час), чтобы получить урну с прахом, либо в самом помещении крематория, либо рядом с ним, на прилегающем кладбище. Урна, прикрытая погребальным покрывалом, вывозится на небольшой тележке и помещается в колумбарий или доставляется в любое другое место, по желанию близких. . . »

Ну, это уж слишком! Жан Кальме яростно скомкал двойной хрустящий листок и швырнул его в угол веранды, за цветочные горшки.

– Что с тобой? – робко спросила мадам Кальме. – Тебе это неприятно?

К чему отвечать? Ему стало стыдно за свое раздражение. Он гневно смотрел на старую сгорбленную женщину, страдая от сознания, что она его мать, что она скоро умрет, что ее тоже сожгут и обратят в пепел, а он так и не успеет высказать ей хоть частичку того, что долгие годы тяжким грузом лежало у него на душе. Догадывалась ли она сама, что его гнетет? Понимала ли своим материнским сердцем тоску, гложущую ее «младшенького», его страхи, жажду любви, по которой изголодались его душа и тело? И Жан Кальме сделал то, чего никогда не совершал, на что никогда не осмелился бы раньше: встав, он подошел к матери, поднял ее с кресла и крепко, судорожно обнял это крошечное нелепое хрупкое существо; она не сопротивлялась, не шевелилась, замерла в его объятиях и только задышала чуточку громче, напомнив Жану Кальме легкое дыхание Терезы под золотистым покрывалом. «Ты тоже была когда-то Офелией, – думал он, сжимая худенькое тельце матери, – ты тоже очаровывала, соблазняла, укрывала в своих объятиях, ты тоже была Цирцеей, Мелюзиной, Морганой, всеми этими юными феями, а нынче превратилась в мешок костей, и лицо твое избороздили морщины!»

Внезапно Жан Кальме вспомнил о пансионе Корбейрие, где он в раннем детстве провел несколько недель вместе с матерью. Постояльцы собирались в чистенькой столовой с низкими потолками и рассаживались на соломенных стульях; дамы и их болезненные, вечно простуженные дети играли в карты за столом, рядом с остатками ужина, золотистыми корками хлеба и недопитым кофе с молоком. Папа присылал им открытки из Лютри. Утром 1 января хозяин подстрелил бродячего кота на заснеженном дворе пансиона. Он долго целился, прежде чем нажать курок. Жану Кальме было всего семь лет, он не мог отвести ружье в сторону; пиф-паф, и кот с простреленной грудью рухнул на обледенелый гравий, его схватили и швырнули в мусорный бак, стоявший у дверей. Всю ночь Жан Кальме кашлял. Мать вставала и, поскольку плита уже остыла, давала ему холодный грудной чай. Мальчику снилась рекламная афиша сигарет «Плейере» – женщина-кукла, белокурая, розовощекая, среди сверкающих сугробов, – такие лица и сегодня еще можно видеть у манекенов, в дешевых магазинчиках готовой одежды. После дневного сна девочка, его ровесница, сидела, как и он, на горшке, не закрывая двери своей комнаты. Жан Кальме ждал конца церемонии с туалетной бумагой, надеванием шерстяных штанишек и теплых рейтузов. . .

– Ты сердисься из-за газеты? – спросил робкий голосок. Жан Кальме скорее угадал, чем услышал этот вопрос по дрожи слабого материнского тела.

Нет, он не сердится. Просто он был шокирован, удивлен. И хватит об этом! Близость хрупкого тела с торчащими лопатками и птичьими ребрышками преисполнила его тоской другого рода. Нагнувшись, он коснулся поцелуем лба матери, изрезанного тоненькой сеткой морщинок. Прядка седых волос кончалась неожиданно кокетливым завитком, который неприятно пощекотал ему губы.

– Знаешь, с тех пор как сожгли папу, я узнала массу вещей, о которых раньше и слыхом не слыхивала. Вот я и вступила в это общество – подумала, что скоро мне это пригодится.

Пауза. Обнявшаяся пара – мать и сын – все еще стояла посреди веранды, в меркнущем закатном свете дня.

– Ты останешься поужинать?

Ее голос дрожал. В нем слышались умоляющие нотки – мать не надеялась на согласие: Жан такой нелюдимый, вечно убегает, скрывается, еще в детстве она прозвала его котенком,

который гуляет сам по себе. . . Бедный старческий голосок. Бедный сутулый скелетик, бедное просящее лицо, бедный взгляд, налитый слезами и выцветший за годы трудной рабской жизни. Она умрет. Ты умрешь, мама, дорогая, и тебя тоже сожгут в крематории. . .

Какая же сволочь этот Бог!

Жан Кальме уехал из «Тополей», не дожидаясь ужина. Он не мог вынудить себя есть, сидя напротив этой старой женщины с усталыми, замедленными жестами; ее рука уже не в силах разрезать мясо, рот сочится слюной и шумно чавкает, прожевывая пищу. . .

И все то время, что он ехал домой, по дороге, идущей в гору, его преследовал взгляд матери, бледный, робкий, как ненавязчивый упрек; взгляд, некогда ярко-голубой, а ныне выцветший, напоминающий бельма слепых, – может быть, именно потому, что теперь в нем не было нужды, ибо материнское сердце видит яснее и глубже, чем любой зоркий взгляд. Жан Кальме мысленно перебирал сцены своего детства. Потом ему снова вспомнились коричневые пятна и лиловые прожилки на старческих руках матери. Скоро она утратит память, начнет все путать, не сможет заботиться о себе. . . Ее господин и повелитель уже мертв. Она должна умереть. Кто закроет ей глаза, когда ее жалкое иссохшее тело похолодеет на постели? И Жан Кальме судорожно всхлипывал, сидя за рулем своей «симки», которая медленно пробиралась среди других машин по оживленным вечерним улицам.

В эти дни гимназия организовала выездные уроки по всей стране, и класс Жана Кальме, 2-й «Г», решил ехать в Берн, частично из атавистического почтения, частично шутки ради – посмеяться исподтишка над столицей Гельветии, над ее банками, площадями, буржуазной солидностью и тягучим выговором, напоминающим голландский язык.

– А можно пригласить друзей?

Жан Кальме разрешил.

Встречу назначили в просторном зале ожидания лозаннского вокзала. В одно ясное майское утро ребята собрались там, одетые под ковбоев, – в сапогах, широкополых шляпах, с пестрыми индейскими платками на шеях и рюкзаками американской армии, набитыми комиксами и блоками сигарет. Явились и приглашенные: несколько парней – студентов Школы изобразительных искусств, две девушки из Эколь Нормаль. . . Тут же, рядом, собирал свою команду Франсуа Клерк.

– А ты куда едешь? – спросил Жан Кальме.

– В Пейерн. Сперва в аббатство и музей, затем в поход по холмам. . .

Услышав, что Жан Кальме едет в Берн, Франсуа ухмыльнулся:

– Хочешь окунуться в федеральную мистику?

Решительно, этот бернский вояж смешон в глазах окружающих. Жан Кальме слегка уязвлен, хотя для виду тоже посмеивается. В глубине души он чувствует, что все относящееся к Берну внушает ему смутную робость – авторитет Берна, его история главы и цемента Конфедерации, его военная мощь, его союзы с другими государствами, расправа с врагами на подчиненных территориях и тайна, заключенная в словах, столь часто произносимых на берегах Женевского озера: «ОНИ там, в Берне, решили. . . Нужно узнать в Берне. . . Федеральный совет проголосовал. . . Берн требует. . .»

Он вернулся к своим ученикам.

Пересчитал их глазами. Марка не было. Придет ли он? Жан Кальме уже было направился к перрону № 1, как вдруг застекленная дверь распахнулась, пропустив красивую пару – Марка и Терезу. Жан Кальме с трудом проглотил слюну, горло его сжалось, тело пронизала дрожь, но глаза неотрывно следили за парочкой, которая танцующим шагом пересекала шумный зал.

Они держались за руки.

У них не было при себе багажа.

Марк – худой, высокий; черная прядь заслонила пол-лица, бронзовые руки, гибкая, стройная фигура, длинные ноги в тесных заплатанных джинсах.

И Тереза. . . Она расплела косу, и две золотые волны свободно ниспадали на обнаженные плечи. Легкая белая блузка с серебряной нитью, обтягивающие джинсы.

И вот они приближаются к Жану Кальме, с милой улыбкой протягивают ему руку, разговаривают как ни в чем не бывало!

Жан Кальме бессвязно отвечает, нервно пересчитывает билеты; ему кажется, что он вот-вот грохнется в обморок.

– Ну, пошли, – говорит он сквозь окутавший его черный туман.

На перроне ужасающе светло. Длинный зеленый состав, шарканье ног, нужный вагон, прыжок на площадку, суматоха, шумные оклики. Жан Кальме зажат между Беатрисой и Дейзи; Кристоф, сидящий напротив, распечатывает жвачку и пускает ее по кругу. Прикрыв глаза, Жан Кальме погружается в вязкое забытие, борется с удушьем. Марк и Тереза. Весь день. Они только что встали с постели. Вприпрыжку спустились по улицам к вокзалу. Держась за руки. Ослепительно красивые в сиянии рассвета, под прохладным горным ветерком, прилетевшим из Савойи и с зеленых берегов Роны. И он, Жан Кальме, одинокий и несчаст-

ный, тут же, рядом с ними! Он себя не помнил от унижения и гнева. Гнева на них, на себя самого, на свет и ветер, свободно шнырявший по вагону с открытыми окнами. На какой-то миг он рухнул в черную пропасть забвения. Отчаяние и стыд терзали его. . .

Когда он вновь открыл глаза, поезд пересекал зеленое плато в предгорьях Бернских Альп, белоснежных и серебристых, как шоколадная обертка; в окнах мелькали луга, деревушки, голубые еловые леса, пастбища с густой травой и яркими цветами, изумрудные рощицы. Марк и Тереза стояли у окна, их волосы сплетались на ветру. Марк обвил рукой обнаженные плечи девушки, привлек ее к себе; щурясь от резкого ветра, он то и дело касался поцелуем нежной шейки Терезы, ее лба, носа, ласкал губами атласную свежую кожу.

– Смотрите, косули! Косули!

Тройка грациозных животных выпрыгнула из леса и, промчавшись по опушке, исчезла в зарослях кустарника.

Марк и Тереза подняли стекло и сели друг против друга, положили ноги на скамейку своего визави. «Как же они красивы! – думал Жан Кальме. – Как чисты! Марк – любовник Терезы. Я же, когда хотел любить ее, оказывался смешным и бессильным. Да, бес-силь-ным! Я бессильный, ничтожный ревнивец. О Боже, чем я провинился перед Тобой, что Ты все отнял у меня?! Я погряз в себе самом, я не такой, как другие, я обездолен и терзаюсь виной из-за Твоего Закона, который довлеет надо мной, точно над испуганным ребенком. Когда же придет конец этому гнету? Когда и мне будет даровано блаженство, хотя бы на миг, перед тем, как уйти в небытие?!»

Поезд приближался к Берну.

Город встал перед ними во всей своей красе, торжественный, процветающий. Его величие, восьмивековое господство и несокрушимая мощь тотчас подавили их. Никто уже не пел, не зубоскалил. Им понадобилось несколько минут, чтобы оправиться от этого шока. Они пошли в центр: Рыночная площадь, Медвежья площадь, купола Дворца Федерации, внезапно заслонившие им часть синего небосвода. Колонны, монументальная лестница, высоченные стены, пристройки, зеленовато-серая кровля – все в этом внушительном здании дышало мощью и долговечностью, говорило о законности, демократическом духе, буржуазном здравомыслии и презрении ко всяким эфемерным новомодным веяниям. Дворец выглядел строгим, собранным и одновременно воздушным в соседстве с высокими современными зданиями банков – эдакий древний, но крепкий старец, сидящий на сундуках с золотом.

Эта мощь невыносимо раздражала Жана Кальме. Его ученики уже пришли в себя и потешались вовсю, изучая патриотические призывы и гербы кантонов на фасаде. Некоторые из них затянули революционные песни, вставляя туда, смеха ради, отрывки из священных швейцарских гимнов, другие приплясывали и кривлялись, изображая ничтожных людишек, подавленных окружающим великолепием. Веселье достигло апогея, когда на площадь церемониальным шагом вышел отряд военного училища во главе с юным капитаном, украшенным темляком. «Zu miiin' Befehl, Halt!»* – скомандовал он. Сорок фуражек мигом задрали козырьки к куполу Дворца, сорок мундиров застыли на месте, сверкая, точно пряники с глазурью; зычное «сми-и-и-рно!» заметалось эхом в колоннадах священной площади. Стоя поодаль, Жан Кальме и его класс вслушивались в гортанный диалект офицера, восторженно описывающего бесчисленные достоинства Дворца.

Затем они отправились дальше; спустились вниз по тесным улочкам с аркадами, постояли минутку у знаменитых башенных часов с церемонно выступающими фигурками в старинных нарядах, миновали еще множество банков, загадочным образом повторяющих стиль храма Фе-

*Слушай приказ: стой! (нем.)

дерации – фронтон-купол-колоннады, задержались у зданий посольств, чьи решетки, гербы и бронированные лимузины с белыми колесами, стоявшие у парадных подъездов, напоминали пародии на шпионские фильмы, закусили сосисками и пивом прямо на улице, на ветру, усевшись тесными рядами на зеленые скамейки бульвара над Ааром*, пошвыряли пустые бутылки в воду, чем заслужили строгий выговор зрителя, обозвавшего их *Welsch' student***, громогласно спели в ответ строфу «Интернационала», к великому возмущению шокированного старика, и, наконец, добрались до Медвежьей ямы, где пришли в чисто детский восторг. Яма представляла собой широченный, мощный плитами колодец, разделенный на несколько отсеков; в центре высился толстый разветвленный древесный ствол-мученик, дочиста ободраный медвежьими когтями. На дне ямы, в первом отсеке, огромный медведь с темной лоснящейся шерстью развлекал зрителей, вставая на задние лапы и комично подражая нищему, выпрашивающему милостыню. Он умоляюще протягивал вверх передние лапы, разводил ими, снова складывал, вращал круглыми глазами, но при этом его гибкие движения, острые зубы, струйка слюны, стекавшая с длинной подвижной морды, а главное, страшные кривые, длинные, как кинжалы, когти придавали ему вид не столько смешной, сколько свирепый. Медведь с ворчанием приплясывал, встав на дыбы. Кто-то бросил ему несколько морковок; зверь проворно опустился на все четыре лапы, стуча когтями, подбежал к лакомой добыче и с громким хрустом сжевал ее. Жан Кальме вспомнил историю, услышанную в детстве, когда его привезли сюда родители: сторож отлучился за покупками, именно в этот момент в яму упал мальчик, и никто не смог ему помочь; медведь сожрал ребенка прямо на глазах обезумевших родителей и публики! Доктор рассказывал этот случай со всеми леденящими душу подробностями, нахваливая стремительную реакцию зверя, его ненасытную прожорливость, и под конец добавил, как-то странно и пристально глядя на сына: «Знаешь, он сожрал его целиком, только и оставил что пару ботиночек». Ну вот, опять доктор. Опять отец. Уж не вселилась ли его душа в этого мощного косматого самца, хозяина и обитателя ямы? Уж не он ли возродился в этом звере, желая еще раз подавить, уничтожить своего младшего сына? «Только и оставил что пару ботиночек!» Жан Кальме с ужасом вспоминал отцовский рассказ и собственный испуг, невольно ища взглядом на дне ямы, среди огрызков овощей и свежих экскрементов, следы жуткого пиршества, брызги крови и пару крошечных детских башмачков, которыми пренебрег зверь.

Но ученики Жана Кальме уже громко восторгались чем-то на другом краю колодца, девочки звали его, и он, обогнув колодец, подошел к ним. Прелестная сцена, которую он увидел, заставила его позабыть давний кровавый случай. В отсеке сидела толстая вальяжная медведица с тремя медвежатами в белых «манишках»; детеныши резвились вокруг матери, прыгали, падали, кувыркались и с явным удовольствием принимали ее шлепки. Медведица внимательно следила за своим потомством; казалось, будто она смеется. И в самом деле: она разевала пасть так, словно улыбалась, приводя зрителей в восторг. Вдруг она сильным ударом лапы отбросила одного из медвежат к каменной стенке; детеныш, удивленный, а может быть, и ушибленный, заверещал и испуганно замер под ярким солнцем, тогда как мать звала его к себе плаксивым рывканьем.

Жан Кальме отвернулся от ямы и взглянул на своих учеников. Перегнувшись через каменный бортик и инстинктивно крепко вцепившись в край, они любовались медведями, забыв обо всем на свете. Внезапно Жан Кальме побледнел, холодок пробежал у него по спине, к горлу подступила тошнота: по другую сторону ямы возникла обнявшаяся юная парочка – Марк и

*Река, протекающая через Берн.

**Иностранные студенты (нем.).

Тереза; они стояли там, прильнув друг к другу, не разнимая рук, одинаково прекрасные на фоне сияющего неба. . . Жан Кальме пошатнулся. Закрыл глаза. Вновь открыл их. Те двое стояли в прежней позе, слившись в объятии и словно желая напомнить ему о позорном фиаско в тот день, когда он впервые остался у Терезы. И о его возрасте. И о том, что отныне ему следует держаться подальше от комнатки в Ситэ. И больше не видеться с девушкой. . .

Смертельные ядовитые стрелы ревности пронзили сердце Жана Кальме. Он стыдился этого чувства, ибо любил искренне – любил их обоих, и Терезу и Марка. Да, он стыдился и жестоко страдал от этого стыда, но еще горше ему было от смутной мысли, которая медленно, но верно разъедала ему душу, облекаясь в безжалостно точные слова: «Импотент! Жалкий ревнивец! Чего ты ждешь? Уйди, оставь ее в покое! Уступи этому мальчику, не будь дураком! Неужели ты еще ничего не понял?!» Он едва держался на ногах, его шатало, пока он мысленно осыпал себя этими оскорблениями.

Тем временем ученики насытились впечатлениями, отошли от ямы, и они снова пошли бродить по узким старинным улочкам. Яркий дневной свет постепенно сгущался, принимая оттенок не то расплавленной бронзы, не то жженого сахара, спокойный, умиротворяющий. Группа уже готовилась вступить на мост, охраняемый с двух сторон обелисками, как вдруг наткнулась на поразительное сооружение, вызвавшее хохот и восторженные крики. Жан Кальме, погруженный в размышления и шагавший, как сомнамбула, поднял глаза и буквально оцепенел: он стоял перед фонтаном, в центре которого каменный Людоед пожирал младенца; ребенок был уже наполовину съеден, из окровавленной пасти чудовища торчали только его пухлые ножки и ягодичцы. Жан Кальме сощурился, разглядывая статую; сцена была поистине ужасна. Коренастый, широкомордый Людоед раззявил огромный рот с кривыми клыками, свирепо впившимися в детскую спинку; его расплющенный нос, плоские губы, водянисто-голубые глаза и зловещая ухмылка внушали ужас и отвращение всем, кто хотя бы случайно бросал на него взгляд. Сразу становилось ясно, что никому не удастся помешать безжалостному злодею завершить свою страшную трапезу. Великан был наряжен в кроваво-красный камзол, бордовые крапинки на зеленых штанах напоминали брызги крови. Мощная ручища сжимала голое детское тельце, не давая ему выскользнуть из широкой багровой пасти. Подмышкой другой руки он держал следующую свою жертву, пухленькую девочку с длинными волосами и личиком, искаженным от воплей и слез; бедная малютка! – близился ее черед быть съеденной. На поясе Людоеда, слева, висел мешок, откуда высывались головы других девочек и мальчиков, тщетно взывающих о помощи. Все они были смертельно бледны, и эта бледность странным образом контрастировала с красно-коричневой кожей их убийцы. Одному из мальчиков удалось выбраться из мешка и сползти вниз по ноге Людоеда, где он и повис, вцепившись в его штаны, но все это – и судорожные усилия ребенка, и скорченные тельца остальных, и их мольбы и слезы – делало жестокого великана лишь еще страшнее и ничуть не умаляло его чудовищный аппетит. Другой мальчик висел на поясе злодея справа, рядом с огромным ножом. Этот малыш тоже отбивался, упершись ножонками в колено Людоеда, но его сопротивление только радовало этого последнего: великан ликовал, заранее предвкушая, как вонзят зубы в эту еще живую свежую плоть. Веселость Людоеда!.. Жан Кальме вдруг сделал ужасное открытие: Людоед походил на его отца. Может быть, душа отца, вырвавшись из крематория, переселилась в этого отвратительного гиганта, чтобы опять мучить и преследовать его? Да, это был сам доктор, с его мощными плечами, широкой спиной, могучим торсом, излучающим жестокою и жадную силу. Это была его уверенная – даже в самом худшем – повадка, его бесстыжий аппетит, его стальные голубые глаза, дерзко презирующие все и вся, его утробный хохот, обнажавший крепкие зубы. Жан Кальме снова вспомнил давний вечерний ритуал с точением ножей:

– Ух, какой ты хорошенький, так бы и съел тебя! Ну-ка, сейчас мы его слопаем, прямо сыром!

Жан Кальме вдруг опомнился; он совсем забыл про своих учеников. А они тем временем брызгались водой из фонтана; другие покупали в соседнем киоске открытки с изображением Людоеда и с трудом выговаривали длинное немецкое слово Kindlifresserbrunnen – фонтан Пожирателя маленьких детей. Фонтан Каннибала! Жан Кальме подумал о Хроносе, живьем проглотившем свое потомство, о фантастическом Сатурне, пожиравшем своих отпрысков, о Молохе, жадном до крови непорочных юношей и девушек, об ужасной дани, которую Крит должен был платить божественному Минотавру, обитателю лабиринта, – вот кому, вероятно, хватало гемоглобина! Его, Жана Кальме, тоже пожрал родной отец. Слопал с потрохами. Изничтожил. Мстительная ярость сотрясала тело Жана Кальме, ярость против Людоеда-доктора, против всех людоедов в мире, пожирающих собственных сыновей, отдающих собственную плоть и кровь на заклятие ради еды, ради удовольствий, ради победы над врагом! Жиль де Рэ! Эржбет Баторий, кровожадный зверь, наслаждавшийся воплями своих жертв! И лютые охотники из Лейпцига и Маянса, что, затаившись в своих логовах, пристально глядели в ночной мрак красными глазами; и убийцы девушек, и завсегдатаи операционных и моргов, и маньяки-похитители, которые хватали детей и уносили прочь в зловещий час сумерек! И вампиры, высасывающие из людей мозг и кровь, и мясники, разделяющие пухлых младенцев; и потрошители невинных девиц! Жан Кальме, неотрывно созерцавший статую Убийцы, мысленно видел эту кровавую вереницу извергов рода человеческого. И его отец стоял последним в этом жутком ряду! И надо было так случиться, что он, Жан Кальме, был отдан на милость этому Людоеду связанным по рукам и ногам, слабым, покорным, бессильным.

Бессильным!

Вот в чем все дело. Запугивая, пожирая, попирая ногами своего сына, как жалкую марионетку, доктор хотел стерилизовать его, дабы сохранить свое отцовское господство, свой авторитет хозяина, коим он должен был оставаться, чего бы это ни стоило. Его братья ускользнули от этого гнета. Сестры тоже. И только он, Жан Кальме, остался во власти своего Господина и погиб.

Молодежи уже не терпелось вернуться домой – наступал вечер. Они отправились на вокзал. Обернувшись, Жан Кальме бросил последний взгляд на Людоеда, по-прежнему невозмутимо наслаждавшегося жуткой трапезой.

Его сердце разрывалось от горечи и гнева, Какая несправедливость! Тереза и Марк шли впереди, обнявшись. Жан Кальме глядел на их длинные ноги в одинаковых джинсах – стройные, тонкие, сильные ноги. На мгновение ему представилась картина: двое молодых людей отданы жрецам Молоха или Ваала; он вообразил полуобнаженную Терезу в мешке Людоеда, молящую о пощаде, крики Марка, которого гигантская рука Сатурна хватает, чтобы отправить в пасть, широкою, как пещера. Ноги юноши нелепо болтаются в воздухе, потоки его драгоценной крови стекают по камзолу ненасытного палача. А если даже он не погибнет этой мучительной смертью, то кончит, как другие, превращенный в горстку пепла или в кучку гнили на кладбище, в сырой могиле. Бедный Марк! Какая разница – сейчас или через сколько-то лет? И какая разница – пасть Ваала или коса смерти. . .

Эти мрачные мысли ясно свидетельствовали о жгучей ревности, и Жан Кальме стыдился их и собственной низости. За весь день Тереза не сказала ему ни единого слова. Даже не взглянула в его сторону. Он вновь обрел скорбное свое одиночество. Кто же вернет его к жизни? И он в свой черед становился людоедом, мечтал о жертвоприношениях, радостно прислушивался к хрусту костей тех, кто его отринул, тайком хоронил их. . . Ему стало страшно, стало холодно. Наконец они пришли на вокзал. Уже зажигались фонари. Дети – красивые, довольные – с песнями садились в вагон.

IV ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ

Гробу скажу: «ты отец мой»...
Книга Иова, 17, 14

Некоторое время спустя, как-то вечером, Жан Кальме в одиночестве пил пиво в «Лирике»; вдруг дверь отворилась, пропустив в кафе человека, которого ему меньше всего хотелось бы видеть; он притворился, будто не заметил его, тогда как тот, напротив, всеми силами старался привлечь к себе внимание Жана Кальме. Он тоже заказал пиво, залпом осушил кружку, уплатил, надел плащ и уже собрался было выйти, однако вернулся и, подойдя к Жану Кальме, протянул ему руку:

– Вы ведь узнаете меня?

Увы, Жан Кальме слишком хорошо знал его.

Этого тщедушного субъекта звали Жорж Молландрю.

Молландрю, руководитель гитлеровской группки, не раз имевшей столкновения с полицией.

Молландрю, издававший за свой счет неонацистскую газетенку «Реальная Европа», где ностальгически воспевались блеск и величие довоенного Нюрнберга и «окончательное решение» национального вопроса.

Жан Кальме нехотя пожал протянутую, неприятно влажную руку. Молландрю, не дожидаясь приглашения, сел за его стол.

– Выпьете еще пива, господин Кальме? Я угощаю!

Голос его звучал сердечно; тем не менее Жан Кальме испытывал смутную гадливость: тусклые глазки Молландрю сверлили его с каким-то грязным любопытством, руки непрерывно дрожали... Общество Молландрю было не слишком-то приятно; многие считали его чокнутым, почти дебилом. Жан Кальме часто встречался с ним в студенческие времена в дешевых забегаловках. Они были почти ровесниками. В ту пору Молландрю состоял в женевской секции Стреловидных Крестов и часто демонстрировал портреты Гитлера в развеселых студенческих компаниях. Непонятно, чем он жил в настоящее время; знали только, что он подрабатывает корреспондентом в ультраправой прессе. Его выставили из нескольких частных школ, где он пытался пропагандировать фашизм и европейскую революцию перед сынками автомобильных и аптечных королей, наехавшими в Лозанну, дабы и здесь провалить экзамен на бакалавра. Возможно, он давал у себя дома частные уроки.

Молландрю осведомился с кривой улыбкой:

– Вы по-прежнему трудитесь в гимназии?

Жана Кальме передернуло от этого вопроса,

– Пока что меня оттуда не уволили, – сухо ответил он. Ему казалось, что любое упоминание о гимназии в устах Молландрю пачкает его учеников.

– А читали ли вы последние выпуски нашей газеты, господин Кальме?

Нет, Жан Кальме ее не читал.

– Странно, – промолвил Молландрю, – мы рассылаем ее во все государственные учебные заведения, а кроме того, персонально каждому преподавателю на дом. Вот печатный орган, который дает поистине верную информацию, согласитесь! – И он добавил со злоеющей усмешкой: – Мы вынуждены бороться с левацкой пропагандой, захлестнувшей штатных преподавателей... .

Жан Кальме изумленно внимал этим речам. Молландрю продолжал, сузив глаза; руки его тряслись:

– Нас всего лишь горстка, но я верю: наш час придет! Мы не позволим Европе идти навстречу гибели от коварных происков гнусных маоистов и безответственных анархистов, правящих по указке Никсона. Повсюду, куда ни глянь, создаются или реорганизуются группы наших сторонников. В Париже, Брюсселе, Лондоне и, разумеется, в Германии, а также

у нас, в Женеве, люди реагируют, люди осмысливают, вооружаются, сопротивляются, свидетельствуют! Довольно терпеть, господин Кальме! Мы должны создать ядро организации из решительных людей, которые не страшатся твердой руки. Вспомните друзей Гитлера и его штурмовые отряды, вспомните собрания в мюнхенских пивных. В каждом таком зале по углам стояли пулеметы, господин Кальме, и все противники движения немедленно подвергались строгой каре. Никакой пощады врагу! Подумать только – сегодня любой коммунистический прихвостень свободно выступает перед народом и преподает, где ему вздумается!..

От возбуждения его голос зазвучал еще громче и пронзительнее, а маленькие юркие глазки с красными веками мерзко поблескивали.

«Пьян он, что ли? – думал Жан Кальме. – Нет, наверное, просто взбудоражен; ведь он верит в собственные бредни. Нужно встать и уйти. Вот сейчас встану и уйду, не пожав ему руки. Грязный тип!»

Так думал Жан Кальме и все-таки не вставал: взгляд Молландрю словно парализовал его, лишил воли, придавил к стулу. Кафе было полно народу, в жарко нагретом зале стоял шум и гам; Жан Кальме все сидел на месте, не в силах двинуться. Молландрю наконец умолк. Жан Кальме очнулся и стал выкладывать монеты на стол.

– Как, вы уже уходите?! – с сожалением воскликнул Молландрю. – А не хотите ли зайти ко мне, выпить стаканчик? Как-никак мы коллеги. . . Я живу тут, рядом. Вы даже не дали мне заплатить за пиво.

Что же двигало Молландрю? Скорее всего, этого субъекта мучил страх, подленький, злобный страх, заставлявший его непрестанно шарить вокруг розовыми крысиными глазками, следить за посетителями, коситься на телефонную будку, исподтишка изучать Жана Кальме. Да, именно так. Молландрю вовсе не был уверен, что его номер удастся. Уже без четверти двенадцать. На улице дождь. Официанты начали убирать со столов, последние клиенты одевались у двери. Молландрю настаивал:

– Ну же, зайдем ко мне, выпьем еще по кружечке пивка!

Дурное предчувствие. Стеснение. Гнев на себя самого. Но в силу мимикрии, всю низость которой Жан Кальме чувствовал как нельзя ясно, он был не способен отказать Молландрю, не мог даже встать и уйти, не попрощавшись. А тот буквально прилип к нему. Наконец они вышли вместе.

– Я и правда живу тут, поблизости, – твердил Молландрю, шагая под холодным дождем. – Мы только быстренько пропустим по стаканчику и всё!

Они шли по авеню Жоржет. Последние троллейбусы возвращались в парк, обдавая тротуары фонтанами грязной воды.

Две минуты спустя они оказались на улице Вилламон.

– Вот здесь, – сказал Молландрю, толкнув дверь высокого дома с цветочной лавкой на первом этаже. Проходя мимо нее, Жан Кальме бессознательно отметил кроваво-красный цвет оранжевых цикламенов в витрине, ярко освещенной двумя прожекторами.

Молландрю отпер дверь квартиры, включил свет и потянул своего гостя за рукав к кабинету, куда и ввел его с весьма торжественным видом.

– Смотрите, господин Кальме, смотрите! Вам это о чем-нибудь говорит, не правда ли?

Жан Кальме замер на пороге, не в силах двинуться с места; его лицо и подмышки мгновенно взмокли от пота.

Из глубины комнаты, из-под знамени Третьего рейха, украшенного двуглавым орлом и свастикой, на него глядел с огромной фотографии Гитлер, совсем как живой. Рядом были выставлены самые разнообразные трофеи, награды и прочие «экспонаты» – военные кресты, сигнальные флажки, оружие, фотографии, гербы немецких земель. . .

Молландрю положил руку на плечо Жана Кальме:

– Ну что, господин Кальме, я вижу, вас поразили мой маленький музей? Взгляните-ка сюда! Эта вещь – большая редкость. Я знаю людей, которые выложили бы за нее целое состояние.

И он развернул на столе черную нарукавную повязку с серебристой каймой и такой же надписью: «SS – Schule Braunschweig».

– Это одна из двух военных школ СС, господин Кальме. Представляете?

Он благоговейно погладил черную ткань, лаская взглядом серебристые готические буквы, затем протянул повязку Жану Кальме, который вздрогнул, словно коснулся змеи, и поспешил вернуть ее на стол.

– Военная школа СС! – мечтательно повторял Молландрю. – Откройте-ка этот альбом, господин Кальме!

И он сунул ему в руки толстую тетрадь, переплетенную, как альбом для семейных фотографий; здесь, однако, были совсем другие снимки – военные парады, концерты, торжественные построения прославленных полков.

– Но вы же пришли выпить пива, господин Кальме! Что это я, совсем забыл!

Он исчез, в кухне хлопнула дверца холодильника, и Жан Кальме услышал позвякивание бутылок и стаканов. Он сел в кресло и стал ждать, обливаясь потом, не в силах отвести глаз от красного знамени со свастикой в центре, которая, чудилось ему, непрерывно вращается и хищно шевелит своими крючковатыми лапами, напоминая злобного паука. Под знаменем, из черной рамки, на него взирал Адольф Гитлер; он глядел так пристально и настойчиво, словно пытался заговорить с гостем сквозь разделяющие их пространство и время, словно хотел любой ценой привлечь на свою сторону этого испуганного человечка, сидевшего в кабинете его обожателя.

Молландрю вернулся из кухни с бутылками и начал разливать пиво.

– Наедине с нашим фюрером, а, господин Кальме? Я вполне согласен с вами – на этом портрете он как живой! Да, он живет! Он призывает нас! Посмотрите на эту властную осанку, на этот магнетический взгляд! – И он добавил – наивно, как бы про себя: – Не знаю, что бы я делал без этой фотографии. . . – И тут же продолжил в полный голос: – Мне подарил этот снимок истинный наци, один из секретарей комендатуры Лиона, в знак своего доверия. Да, эта фотография о многом говорит; наш фюрер не умер, господин Кальме. Он жив, как жив его гениальный план создания Великого рейха и реальной, единой Европы. Взгляните и постарайтесь понять смысл нашего символа – свастики. Вы видите? Она живет, она непрерывно вращается – как Солнце, как Земля, как планеты; это воплощение жизни, которую ничто не может остановить! И к тому же этот знак прост и доходчив: на любом писсуаре, куда ни зайдешь, вы увидите на стене свастику, нацарапанную булавкой, нарисованную карандашом, намалеванную краской или чем угодно, но он всегда на глазах, этот символ, он сияет, он излучает мощь, он непреложно свидетельствует, что никому не удастся стереть из нашей памяти крест Великого рейха!

И тут произошло нечто совершенно неожиданное. Молландрю поставил бокал на стол, быстро подошел к портрету Гитлера, замер в двух метрах от него, звучно щелкнул каблуками и, воздев руку, прокричал:

– Хайль Гитлер!

Его лающий возглас дерзко нарушил тишину уснувшего дома.

Жан Кальме вздрогнул, но Молландрю не дал ему времени опомниться. Обернувшись к гостю, он торжествующе взглянул на него крысиными глазками:

– Мы победим, господин Кальме! Мы вновь завладеем Европой, мы вновь завоюем весь мир!

Он двигался, как заводная кукла. «Господи, что я здесь делаю? – тоскливо думал Жан Кальме. – Он меня гипнотизирует, мне тошно от этой комедии». Он уже потерял всякое представление о времени, забыл о Терезе, об учениках, о занятиях. Он машинально пил и пил, погруженный в вязкое полузабытье. Его мучило от пива, от липкого стакана в руке. Однако он непрерывно подливал себе еще и еще, хотя желудок был переполнен.

Прошел час, в течение которого Молландрю заставлял Жана Кальме листать выпуски «Гренгуара» и «Вездесущего»*, а затем рассматривать таблицы с изображениями еврейских профилей, носов, ртов, ушных мочек и волос, плеч, животов и ступней; все это было старательно классифицировано и снабжено комментариями, а венчал таблицу заголовков крупными буквами: «УЧИТЕСЬ РАСПОЗНАВАТЬ ЖИДОВ!»

Тошнота жгла ему горло. Внезапно он вскочил, вне себя от ярости и отчаяния. Ему не пришлось пожимать руку Молландрю: тот понял, что зашел слишком далеко, и не двинулся с места; только глазки его шарили по лицу Жана Кальме с видимым удовлетворением. Молча кивнув ему, Жан Кальме сбежал вниз по лестнице и вышел в холодную тьму.

Дождя уже не было. Всего три часа осталось Жану Кальме для сна. Раздавленный унижительными впечатлениями этого вечера, он шел по улице Вилламон, грустно думая, что из всего преподавательского состава гимназии он единственный в этот час слоняется по городу, да еще после столь мерзкой встречи. И, словно в наказание за случившееся, весь остаток этой короткой ночи отец преследовал Жана Кальме в снах, то бросаясь на него разъяренным быком с вершины холма, то душа в своих людоедских объятиях у себя в кабинете, перед высокими часами, похожими на стоячий гроб. А на заре, когда уже защебетали дрозды в садах, кто-то оглушительно заорал: «Heil Hitler!» – и этот крик, раздавшийся из глубины двора, пробудил Жана Кальме от его лихорадочных сновидений.

Бреясь перед зеркалом и внимательно водя по коже лезвием, он боролся с кислой отрыжкой от пива, которое не успел переварить.

*Фашистские газеты, выходившие в годы Второй мировой войны.

Грузный голубой троллейбус въехал на площадь Святого Франциска с правой стороны. Жан Кальме стоял на солнышке перед витриной домовый кухни Мануэля. Вдруг из отдушины, почти у самых его ног, выскочила крыса и в панике заметалась по тротуару. Это произошло в какую-то долю секунды; Жан Кальме успел только подумать: «Крыса!» – и лишь потом он вспомнит, что это была толстая серая крыса с шерстистой спинкой и длинным розовым хвостом; ему показалось даже, что он расслышал цокот ее когтей на асфальте. Ослепленная ярким светом, крыса не глядя бросилась вперед; в этот момент троллейбус поравнялся с церковью и ускорил ход, чтобы проскочить на зеленый свет к Большому Мосту. «Нет, нет! – бессмысленно воскликнул про себя Жан Кальме. – Они же сейчас столкнутся!» Так и есть – огромное переднее колесо подмяло под себя юркое крысиное тельце, и восьмиметровое чудовище прокатило мимо Жана Кальме, который остолбенело глядел на блестящую кровавую лужицу между пронесившимися автомобилями.

Было три часа дня.

Жан Кальме шел на свидание с Терезой.

Он поднимался вверх по улице Бург, думая о мучительной смерти крысы. Долгие годы она обитала в погребах и норах под модными лавками, магазинами дорогой обуви, ювелирными бутиками с их сверкающими украшениями; долгие годы бегала, шныряла, вынюхивала, метила свою территорию в темном лабиринте водостоков, под вызывающе элегантными витринами, выставившими напоказ все богатства Европы. Под рядами норковых манто и каскадами бриллиантов. Под пирамидами баночек с икрой. Под изумрудами и рубинами, под чудесами электронной и часовой техники, призванной услаждать изнеженных богачей. Под сумочками и туфельками из телячьей кожи, ручной работы. И вот, в один прекрасный день, без двадцати три, она выбралась из своего убежища. Что это – слепой случай? Злая шутка судьбы? Или желание увидеть наконец окружающий мир? Вероятно, ей надоела жизнь в вечном мраке, и она решила поглядеть на солнышко, за что и поплатилась жизнью ровно через минуту. В наше время нельзя быть чересчур независимым. В нашем городе трудно выйти на свет Божий и остаться в живых. Жану Кальме вспомнился ежик, который так помог ему в одну лунную ночь, кот, за которым он шел по берегу озера. Те двое тоже были дикие, независимые, безумные одиночки, «гулявшие сами по себе».

Жан Кальме дошел до конца улицы Бург, свернул налево, пересек площадь Сен-Пьер и вступил на мост Бессьер, высившийся над улицей Сен-Мартен. Это был мост самоубийц: несколько раз в неделю люди кидались отсюда вниз, с тридцатиметровой высоты, разбиваясь об асфальт у стен гаража Пежо. Его владелец держал у себя мешок с опилками, чтобы засыпать лужи крови, в которых могли поскользнуться и запачкаться его клиенты. И он же, по давно установившейся традиции, не дожидаясь прибытия «скорой», накрывал размозженное тело одеялом, которое хранилось аккуратно свернутым рядом с бензоколонкой. Одеяло, заскорузлое от крови, стало жестким, как брезент.

Проходя по мосту, Жан Кальме держался как можно дальше от перил – он боялся высоты; всякий раз ему явственно представлялись последние мгновения самоубийцы. Вот я останавливаюсь на середине моста, берусь за поручни балюстрады, переносу ноту, вижу улицу внизу – далеко, словно на дне пропасти, гараж, блестящий асфальт; не колеблюсь больше, хочу умереть, хватит раздумывать; переваливаюсь через металлический поручень; о, черт, я уже в пустоте, я падаю, я задыхаюсь. . . я. . . Жану Кальме рассказывали, что человек, летящий вниз, теряет сознание раньше, чем ударится о землю.

Ужас.

Середина моста.

Те, что бросились отсюда, тоже были дикарями, отверженными, которых окружающий мир приговорил к смерти. Как та крыса. Как все остальные животные, героически пытавшиеся выжить среди бетона, бензиновой вони, суеты и суеверий, бессмысленно жестоких развлечений и трусости: ястребы, подстреленные среди бела дня, лисы, выкуренные из нор, барсуки, насмерть забитые палками, распятые совы-сипухи, утопленные мыши, снегири, пронзенные пулей из духового ружья, белки, отравленные стрихнином, оленята, зарезанные сенокосилками, кабаны, прошитые пулеметными очередями, задушенные зайцы, раненые косули, кошки, жабы, лягушки, ежи, раздавленные полночными водителями-лихачами и превратившиеся в кровавую кашу. . . Тереза ждала его в «Епархии».

Какая тайна кроется в этой девушке! Как загадочно ее тело, и сердцевина его, и оболочка; от нее исходит нежное мерцание, и свет ее волос озаряет прекрасное, склоненное над книгой лицо, высокий лоб, четкие скулы, округлую шейку, закованную в железное ожерелье, что стекает вниз, в разрез вышитой блузки. На ней те же джинсы, те же сабо. Юная девушка. Шестнадцатого августа ей исполнится двадцать лет. Это знак Льва. Под белым полотном со старомодной вышивкой круглятся два холмика. Как хочется Жану Кальме распахнуть этот ворот, обнажить эту грудь, прильнуть губами к коралловому бутону и неотрывно сосать, пить жизнь из этого источника, навеки погрузившись в тепло материнской нежности.

Она подняла глаза.

Два изумрудных озера.

Она улыбнулась, на миг сверкнув зубами, и отложила книгу. Это была «Лилия в долине». Жан Кальме глядел на нее сверху, не садясь.

– Ну что, прогуляемся по Ситэ? – спросила она.

Они обошли сзади собор, миновали площадку, где Жан Кальме прошлой осенью наблюдал за своей ученицей, склонившейся над скелетом монаха и сунувшей ему цветок в рот.

Тереза носила на босу ногу грубые белые сабо, звонко и весело стучавшие по камням тесных улочек, пустынных в это послеобеденное время, и Жан Кальме в который раз подивился тому, как странно и тесно связана эта девушка с детством, с его сказками, картинками в старинных книгах под розовыми коленкоровыми переплетами, блеклыми гравюрами на меди, которые антиквары подвешивают в своих витринах на бельевых прищепках. Стоило Жану Кальме слышать цоканье этих сабо, как он тут же переносился в старозаветные времена, полные всяких чудес; там безраздельно царила Тереза, там обитали ее фрейлины, ее сестры, ее кухни из дома и из леса, карлики, феи, колдуны, звери и рыбы, что неожиданно говорили человеческим голосом на берегу реки, юные царевны, пробужденные от мертвого сна поцелуем принца, любопытные жены, вошедшие в запретную комнату. . . а дорога клубится пылью, а трава зеленеет на бескрайних пастбищах у подножия Юра, куда спускается ночь. . .

Вот это-то и поразило его в Терезе, когда он впервые увидел ее за столиком «Епархии». Это сочетание юной свежести и древней колдовской мудрости. Ребенок и кошка. Детская чистота и загадочность. Свет и мрак. Воздушная фея. Тереза. Я не смог любить тебя. Не смог. Не смог. Сабо постукивают по асфальту четко и ласково, громко и задорно, и тотчас просыпаются великаны, и маленький мальчик сыплет хлебные крошки на тропинку, а жадные птицы слетают с ветвей, чтобы их склевать. Цок-цок. В веселом перестуке деревянных подошв слышится ирония, слышится смех, ну да, они насмеются над ним, дразнят: «Не смог! Не смог! Ку-ку дураку! Бедный чокнутый старик, я-то молода, мне всего двадцать, я свободна, я развлекаюсь и плачу, когда пожелаю, я занимаюсь любовью с Марком, я рисую кошек, лижу мороженое, покидаю Школу изобразительных искусств, возвращаюсь туда, езжу к матери в Монтрё, мне на все наплевать, багровое солнце садится за киоск. А у меня круглые красивые груди, они нетерпеливо вздымаются под поцелуями Марка. А у меня маленькая корзиночка.

А у меня стройная фигурка «стандартного размера», как пишут в каталогах готовой одежды. Жан? Господин Кальме? Да, я любила его – два или три дня. Он глубокая личность. Я понимаю его, не понимая. Он никогда не рассказывает о себе. Но его глаза говорят о многом. Однажды днем, в кафе, он закричал. Я привела его к себе. Мне хотелось переспать с ним. Но ничего не получилось. С тех пор он смотрит на меня совсем уж безумными глазами. Марк говорил, что господин Кальме как-то рассказал ему о своем отце: странный тип, этот отец, такой же странный, как он сам, только с другим уклоном – в жестокость. Эдакий умный безжалостный зверь. Довольно опасный, судя по всему. А моя мама живет в Монтрё, а папа ничего лучшего не придумал, как умереть в один прекрасный день на леднике. Жан прозвал меня Кошечкой. Может быть, потому, что моя «киска» такая мягкая, славная, теплая и влажная. А может, потому, что я своевольна, как кошка. Я его предала. Что – грубо звучит? Но я люблю Марка. Тем хуже для Жана. Я не хочу заставлять его страдать. Пусть приходит ко мне, когда хочет. Я не стану избегать его. . . »

О нет, не так все просто, он-то знает. И Жан Кальме, истерзанный душевной мукой, шел по улочкам Ситэ, в летний день, а на площади Ла Барр благоухали тяжелые пышные розы, и дрозды перекликались в листве каштанов. Ему было невыразимо тяжело; стук сабо преследовал его, больно отдаваясь в голове; фея, шагавшая рядом с ним, напевала и рвала гвоздики у подножия старых стен, дивясь их ванильному аромату. Она совала цветы в корзинку. Еще одно воспоминание из детских сказок: злодей, хоронившийся за кустами, сейчас состроит добродушную улыбку и выйдет, чтобы заговорить с девочкой.

Четыре часа. Душно до невозможности. Тяжелая, влажная жара. Сейчас в самый раз укрыться в каком-нибудь тихом кафе или, взбежав по лестнице, лечь дома, в прохладной комнате, на кровать. Час волка – так говаривал доктор в Лютри, сверля глазами маленького сына. Перед Жаном Кальме возникает багровая физиономия, перекошенная гримасой жестокости. «Стало быть, я создан для страдания, – думает он, шагая по улице. – Жалкое ничтожество. Детство? Загублено. Остальное – раздавлено. Мой отец, Лилиана, Тереза. . . Мне суждено иметь дело лишь с проститутками, вроде толстухи Пернетты; после нее впору удавиться. А мама?» Он тут же подумал о еде и устыдился этой мысли, связанной с матерью, с ее старым ртом, шумно жующим пищу в тихой столовой, за одинокой трапезой, когда солнце вот-вот утонет в озере и кровавые закатные лучи ложатся на паркет. Мама одна, мама скоро умрет, она умрет через два или три года, она дрожит всем телом, все сильнее и сильнее, ее сломила смерть папы, целыми днями она ждет у телефона, разговаривает сама с собой, часами глядит в окно, и сумеречный свет озаряет ее бледное морщинистое лицо, а она сидит, уставившись в пустоту, и вспоминает, вспоминает. . .

Небо вдруг угрожающе почернело, налилось свинцом, внезапно ударил гром, и серебристый дождь обрушился на город, срывая листья с деревьев, струясь потоками с холма Ситэ. Тереза, держа сабо в руке, бежала впереди Жана Кальме; она то и дело оборачивалась и улыбалась ему.

– Идем, обсушимся, – сказала она, и Жан Кальме снова оказался в узком коридоре, на тесной лестничной площадке, у двери с припиленной карточкой: «Тереза Дюбуа, студентка».

И тотчас она приблизилась, подняла к нему лицо, заморозила своим зеленым взглядом; на несколько мгновений Жан Кальме погрузился в тихое блаженство. Что-то в нем дрогнуло, и он почувствовал, что тайна все еще жива, что она исцелит его раненую душу и ему вновь будут дарованы леса, и кошки, и птицы, и волшебные тропинки на заре, и деревни, укрывшиеся среди изумрудных холмов и полей люцерны, и ослепительный небосвод, где гуляет своенравный ветер. Тереза подошла совсем близко, мокрые волосы коснулись его рта, и он приник губами к гладкому лбу, по которому струились теплые дождевые капли.

С минуту они стояли молча, недвижно, перед открытым окном, за которым все еще бушевала гроза, и ливень звонко барабанил по блестящим крышам гимназии.

Потом Тереза высвободилась из его рук, закрыла окно и начала расстегивать блузку.

– В душ! – воскликнула она. – Бр-р-р, как холодно!

Жану Кальме никогда не удавалось раздеться так быстро, как ей. Миг спустя скомканная одежда уже полетела в угол комнаты, а Тереза, голая, гибкая, вбежала в ванную, где тотчас шумно полилась вода.

– Жан! Иди сюда, потри мне спину, я замерзла!

Тереза, сидящая в ванне.

Волосы, волосы, каскады золотых волос, стекающие на плечи, розовые от горячей воды; спина сладострастно выгибается под тугими струями.

– Намыль меня, – просит Тереза.

Она забавляется, как маленькая: обливает себе плечи, сует душевой шланг в воду, на самое дно, ложится, расставив ноги, садится, прислонясь к краю ванны, сжимает колени и вопросительно смотрит на Жана Кальме, который медлит подойти к ней.

Он боится. Что, если отец сейчас видит его?! Взгляд Людоеда способен убить на месте. Доктор завладевает Терезой. Уничтожающе смеется над ним, своим младшим сыном; громовые раскаты его хохота звенят в ушах Жана Кальме.

Все же он берет мыло и принимается намыливать шейку феи; его рука ощупывает нежные мускулы, надавливает на них, скользит вниз, к ключицам, вновь поднимается к атласному горлу.

Лира плеч.

Тайники подмышек.

Скольжение вдоль рук, вниз, к кистям, возврат к кудрявым подмышкам, ключицам, нежной ложбинке, ведущей к затылку, а по пути можно раздвинуть золотистые пряди и погладить кончиком пальца мягкий пушок на шее и выступающие позвонки; Тереза ежится, ей щекотно, и его рука снова ложится на стройную гладкую шейку.

Крепкая молодая шея.

Тоненькие ключицы.

Неподатливость груди под его ладонью. Рука нажимает сильнее, быстро делает круг, большой палец упирается в сосок, отпускает его, ладонь снова охватывает и стискивает скользкий холмик, но тот упрямо хранит свою округлость.

Рука спускается ниже, к знакомому изгибу бедер.

Они соблазнительно вздымаются, предлагая ему свои сокровища. Пупок, полный белой мыльной пены. Пушистая мерцающая хризантема лона. Длинные ноги с теплыми гладкими пальчиками, которые Жан Кальме считает и перебирает, словно зернышки четок; девочка моя, маленькая моя девочка, дитя мое, о как я люблю тебя; мой мальчик с пальчик, твои розовые ногти сияют во мраке леса, словно волшебные камешки, они укажут мне дорогу к спасению. . .

Затем Жан Кальме вытирает ее красной купальной простыней.

Расчесывает длинные волосы, с которых падают капли.

Включив фен, он восхищенно глядит, как тяжелая, потемневшая от воды шевелюра обретает прежнюю сверкающую золотистую легкость под струей теплого воздуха.

Переключив фен на «холод», он водит им над ее головой, затем вниз, вдоль шеи, по плечам, то приближая, то отдаляя, ласково щекоча прохладным ветерком лоб, виски, пышные пряди, которые взлетают и ходят волнами под этим дуновением (о моя Мелюзина, моя Офелия!),

спускаясь по спине с ее нежным пушком, шутливо разгоняя светлые завитки лона, заставляя вздрагивать бедра, холодя груди с широкими темными ореолами вокруг сосков, которые отвердевают и покрываются пупырышками. Так что же чувствовал он, Жан Кальме, предаваясь этой забаве? Он видел, как возбуждается Тереза, как вздрагивает ее атласное тело, и со смутным удовольствием старался распалить ее посильнее, но желание ни на миг не посетило его самого. Сначала он увидел отца, злорадно говорившего: «Ты пытаешься возбудиться, Жан Кальме, но ты прекрасно знаешь, что это невозможно. Все эти прелести – мои. Оставь девочку в покое. Ты же видишь, что тебе не удастся овладеть ею!» И доктор хохотал, стоя на пороге комнаты. Однако Жан Кальме не отчаивался, он упорствовал в своем стремлении, изобретая все более изощренные ласки и в то же время чувствуя невыносимый стыд. «Я бессилён, – думал он, – я заставляю эту плоть томиться желанием, а сам бессилён!» Слезы отчаяния жгли ему глаза. Фен продолжал гудеть, обдувая спину Терезы, которая пригнулась, чтобы полнее насладиться прохладой; в этой покорной позе она, учащенно дышавшая, горевшая желанием, была несказанно прелестна, и Жан остро возненавидел себя. «Вот уж мой отец не упустил бы такую лакомую добычу!» Он осыпал себя черными ругательствами. Ему чудился вздыбленный член старика, чудовищный багровый таран, жадно нацеленный в нежное розовое гнездышко; вот он грубо врывается туда и делает свое дело, вызывая крики и слезы наслаждения. . .

Тереза задышала чуточку глубже.

– Жан, иди ко мне в постельку, обними меня, Жан, – шепнула она и, прильнув к нему всем телом, обвила руками шею, наклонила к себе его голову и впилась в губы поцелуем.

Корчась от стыда, Жан Кальме позволил увлечь себя к постели и лег на спину, послушный, как ребенок. Он лежал с закрытыми глазами, задыхаясь от злобы и унижения. Тошнота, обжигающая желудок. Ярость. Мой отец спал с Лилианой, я накрыл их в кабинете, она стояла у окна голая, а он тискал ее грудь. . . Она трогала, ласкала, сосала огромный, ненасытный член доктора. Боль и отчаяние терзали Жана Кальме. Бессилён. Доктор хохотал и веселился на пороге комнаты. «Эй, Бенжамен, держись, мой мальчик! Сейчас самое время показать, на что ты способен!..»

Тереза раздевала его, как всегда, ласково и проворно. Расстегнула и сняла с него рубашку – Жан Кальме чувствовал касание ее ловких пальцев; затем ее руки расстегнули пояс, спустили брюки, пробежали по животу и бедрам, проникли под трусы. . . Сжав зубы, Жан Кальме резко вырвался, вскочил с постели, накинул рубашку, застегнул пояс и выбежал из комнаты, не оборачиваясь, громко хлопнув дверью. «Кончено. Больше я ее не увижу», – говорил он себе, спускаясь по лестнице. Никогда больше. Никогда. Его грудь сотрясалась от рыданий, от скорби и гнева. Он шагал по улице, как сомнамбула. На город спускалась ночь. Ливень уже иссяк, со двора гимназии доносился запах свежей земли и мокрых листьев, и от него разрывалось сердце.

Жан Кальме прошел по улице до собора, обогнул его и спустился на мост Бессьер. Он шагал с поникшей головой, терзаясь и упиваясь своим несчастьем. Внезапно, подняв глаза, он увидел своего товарища по коллежу, Блоха, Жака Блоха, ныне аптекаря, который шел ему навстречу. Блох издали улыбнулся ему, а подойдя ближе, протянул руку.

– Грязный жид! – сказал Жан Кальме – громко, чтобы его услышали. Сделав несколько шагов и хихикнув, он четко повторил: – Грязный жид!

Потом он подошел к перилам моста и заглянул в пропасть. Головокружение и мерзкая выходка зловонной тошнотой подступили к горлу. Его долго рвало желчью на собственные ботинки.

За три дня до смерти – в пятницу 15 июня – Жан Кальме проснулся очень рано и с ужасом вспомнил вчерашнее. Разумеется, он еще не знал, что умрет, и думал, что ему предстоит и дальше делать те же движения, принимать с отвращением – или с удовольствием – те же зрелища и выполнять свою работу точно так же, как и в любой другой день.

Он отправился пешком в гимназию и по пути заглянул в «Епархию» выпить кофе. Собираясь расплатиться, он вертел в пальцах пятифранковую монету и вдруг впился в нее острым взглядом. Как это он раньше не замечал?! На одной из сторон массивной монеты был изображен человек, воплощавший Швейцарию; спокойная сила и уверенность, исходившие от него, больно уязвили Жана Кальме. Человек был изображен в профиль: высокий ясный лоб, прямой солидный нос, тонкие губы, упрямый подбородок. Одежда, распахнутая на груди, обнажала мощную шею и мускулистую грудь; голову с вьющимися волосами прикрывал капюшон, какие носили в старину швейцарские крестьяне, косари, охотники, лесорубы – честные, работающие люди, сильные одной своей верой. Однако борода у человека отсутствовала, и это не позволяло назвать его Вильгельмом Теллем, а, скорее, приближало к нынешнему веку. И все в этой монете – ее тяжеловесность, длинная надпись вокруг головы мужчины – CONFEDERATIO HELVETICA, его мужественная, спокойная красота – дышало невозмутимой силой, усугубившей печальное одиночество Жана Кальме.

Он яростно бросил монету на стол, сунул сдачу в карман и вышел.

CONFEDERATIO HELVETICA! Ему как раз предстоял урок латыни. Воспоминание о профиле на монете не давало покоя. Почему его так раздражали эти два простых внушительных слова? Да вот почему: он вдруг с изумлением понял, что латынь была отцовским языком. Священным языком силы и несокрушимой мощи. И он, Жан Кальме, сейчас войдет в класс и будет читать на латыни, и переводить с латыни, и комментировать латынь. Он, жалкая мокрица, слизень, посмеет взобраться на этот вечный, незыблемый монумент, оставляя на нем мерзкие следы своего студенистого тела, своей грязной слизи! Да кто ты такой, Жан Кальме, чтобы посягать на жилище отца твоего?! Неужто ты надеешься когда-нибудь проникнуть туда? О нет, эта крепость не откроет тебе двери, она будет защищаться до конца! С высоты веков она презрительно смотрит на тебя, ничтожная букашка, и смеется над твоими бессильными попытками прогрызть ее вечные камни!

Жан Кальме с ужасом вслушивался в громовой голос, звучащий в его ушах. Учитель латыни! Учитель латыни? Хозяин, скажите пожалуйста! Не стыдно ли тебе, Жан Кальме, бессильный Жан Кальме, цепляться за латынь своими грязными руками?! Сколько лет ты дерзко оскверняешь мои стены. Воровски присваиваешь себе частицы моего дома. Это язык отца, Жан Кальме! Ноги твоей больше здесь не будет! Ты не имеешь права на латынь, на этот святой язык! Он принадлежит сильным мира сего!

Жан Кальме остановился. Мимо пробежали шумные стайки школьников в ярких, разноцветных одеждах. Он обернулся: сзади, шагах в тридцати, шел Франсуа Клерк. Поговорить с ним? Попросить о помощи? Нет, бесполезно! Уж ему-то, Франсуа Клерку, неведомы эти призрачные страхи. Он ничего не поймет. Он проводит свои уроки, занимается творчеством – щедрый, сильный Франсуа Клерк. Жан Кальме двинулся дальше. Выйдя на Соборную площадь, он, вместо того чтобы свернуть к гимназии, быстро шмыгнул направо, за угол, вошел в Синематеку и несколько минут простоял в вестибюле.

«Не могу. Не могу туда идти, – твердил он про себя. – Этот Вергилий, это утро, этот третий класс... Не могу!»

Жан Кальме вышел на улицу, торопливо огляделся, проверяя, не видит ли его кто-нибудь из знакомых, добежал до «Сосновой шишки» и позвонил оттуда в гимназию: он приболел,

его не будет ни сегодня, ни завтра, в субботу... да, он наверняка придет в понедельник. Мадам Узель напомнила ему, что письменный экзамен в выпускных классах начинается в понедельник в восемь утра и что он еще месяц назад был назначен ассистентом в одном из них. Жан Кальме вторично обещал прийти и повесил трубку.

Ну, вот он и свободен. Теперь можно передохнуть.

Внезапно ему захотелось убедиться, что прах доктора все еще надежно сокрыт в урне за решеткой колумбария. «Он мертв, мертв, этот гад! – сказал он себе. – Он превращен в кучку пепла. Я не стану терзаться из-за какой-то щепотки праха!» И он зашагал по солнечным улицам в сторону крематория.

Подходя к кладбищу, он уже почти пришел в себя.

Густой плющ, одевший старые стены, ярко блестел под солнцем. Жан Кальме шел по центральной аллее. Над газоном с криками носились воробьи, среди ирисов и роз прыгали хлопотливые дрозды. Жан Кальме остановился взглянуть на них. Когда он пошел дальше, на него брызнула струйка воды из поливальной вертушки; воробьи, смешные, суетливые, купались в сверкающей воде и отряхивали крылышки.

Вдали, на фоне неба, уже вырисовывалась труба крематория.

Жан Кальме поднялся по ступеням, свернул направо и увидел колумбарий. Он подошел. Сначала, ослепленный солнцем, почти ничего не различал в полумраке. Затем наконец увидел: в глубине ниши стояла большая урна крапчатого мрамора. Жан Кальме с удовольствием прочел надпись:

ДОКТОР ПОЛЬ КАЛЬМЕ
1894 – 1972

Прекрасно! Тут все в порядке, можно не беспокоиться. Но что, если он опять услышит *тот* голос? Что, если *тот* взгляд снова проникнет к нему в самое сердце? Урна была заперта в нише, но доктор, казалось, витал в воздухе – хитрый, неуловимый и еще более проворный оттого, что был мертв. Его голос громом отдавался в мозгу Жана Кальме, уничтожающе высмеивал все самые сокровенные его помыслы. Да, Жан Кальме, он съест тебя живьем! Жан Кальме безнадежно махнул рукой и пошел назад, в парк. Солнце уже стояло высоко, раскаляя все вокруг... Жан Кальме пересек кладбище и вышел на улицу.

Ему словно вздумалось сделать смотр всей своей родне, так одинокий человек скорбно пересматривает старый семейный альбом – и он, взяв такси, поехал в «Тополя». Он не сразу вошел в дом. Сперва погулял вокруг, в саду, по берегу озера, вдоль лавровой аллеи. Окна в нижнем этаже были открыты. А вот наверху, под крышей, ставни его детской комнаты были затворены. Тем лучше. Значит, глаза доктора больше не смогут пронизывать стены. Жан Кальме мысленно увидел себя затаившимся на кровати, в полумраке: он притворяется, будто читает, а на самом деле с ужасом ждет, что с минуты на минуту взгляд или голос Людоеда вытащит его из укрытия на арену цирка. Но нет, ставни кабинета тоже были плотно замкнуты, и Жан Кальме ощутил веселое удовлетворение; у него отлегло от сердца. Он подошел к двери и позвонил. Мать открыла и засветилась от счастья.

– Это ты, Жан, мой маленький Жан! Ты разве сегодня свободен?

Жан Кальме не ответил. Поцеловав мать, он вошел в переднюю, и тотчас его овеяли два знакомых с детства запаха – смотровой комнаты и погреба, запах дезинфекции и лекарств и запах лежалых зимних яблок. Обернувшись к старой женщине, он крепко обнял ее: щуплая фигурка – кожа да кости, синевато-бледное морщинистое личико, царапины от гребня на висках, там, где поредевшие волосы были тщательно зачесаны назад. . .

Столовая купалась в радостном утреннем свете. Высокие часы по-прежнему мерно тикали в своем застекленном футляре. Стол сиял полировкой. Фарфоровая посуда по стенам ласкала глаз свежей белизной. На кресле у окна лежала вышивка, которую мать бросила, услышав звонок. «Она борется, – подумал Жан Кальме. – Она пытается противостоять распаду. Ни одиночество, ни возраст не смущают ее. Она согнута в три погибели, она страдает от бессонницы и все-таки занимается хозяйством, работает, ест каждый день. Я уверен, что она приносит еду сюда, в столовую. Вот так она боролась всю свою жизнь, на свой манер, никому не жалуясь, с виду покоряясь обстоятельствам. . . Что это – желание соблюсти приличия или, быть может, гордость? Ведь она никогда ни у кого не просила помощи. . . » И он с нежностью оглядывал чисто прибранную комнату, вышивку на кресле. Когда мать села, он придвинул свой стул поближе и ласково взял ее за руку.

– Вот видишь, Жан, я стараюсь работать, но так быстро устаю. . .

Ее рука была сплошь покрыта синими вздутыми узловатыми жилками. Они поговорили о нем, о его работе, о гимназии. Мать рассказала последние новости о братьях и сестрах. А еще к ней наведалься пастор. Она ведь теперь ходит в церковь только раз в месяц. . .

Жан Кальме посмотрел фотографии своих племянников, которые недавно получила мать; она выискивала сходство детей с родителями, делилась воспоминаниями, сетовала на то, что в саду никто не собрал вишни, что будущий урожай яблок придется отдать в больницу.

– Все равно никто их не ест. . . – печально сказала она.

И подняла глаза на Жана Кальме.

– Маленький мой! – промолвила она; ее серые выцветшие глаза робко искали встречи с сыновним взглядом.

Жан Кальме отвернулся и встал. Сделав несколько шагов, он подошел к часам и взглянул на них так, словно впервые видел это навощенное дерево, этот медный циферблат, этот механизм, чьи колесики мерно двигались в квадратном окошечке, под расписным фаянсом.

Поднявшись наверх, он отворил дверь своей комнаты, но не стал зажигать свет. В полумраке смутно виднелась узенькая кровать, стол, шкафчик с детскими книжками. Он прошел мимо комнат братьев к общей спальне двух сестер. Эту дверь он открыл, сам не зная зачем: что он ищет среди призраков прошлого? На пустом чердаке вдруг зазвучали крики, рыдания, смешки. В глубине комнаты его сестер, на комод, жалко белели давно забытые куклы. Со

сжавшимся сердцем он погасил свет, куклы растаяли в темноте, он бесшумно прикрыл дверь. А вот и кабинет с табличкой: «Консультации ежедневно, кроме четверга, с 13 до 19 часов». Он едва не вошел туда, но тотчас отступил и вернулся вниз, к матери, которая сидела на прежнем месте.

Нагнувшись, он легко поцеловал ее в лоб. Она было встала, чтобы проводить его. Уж не хочет ли она пригласить его пообедать с ней? Но мать не осмелилась. Она смолчала. И только в дверях пролепетала несколько прощальных слов. Жан Кальме пожелал ей здоровья, поцеловал руку. Она довела его до калитки:

– Возвращайся поскорее!

Он сел в троллейбус и доехал до самого Ровереа, даже не зайдя в кафе, из страха быть замеченным учениками или кем-нибудь из секретариата.

За два дня до своей смерти Жан Кальме все еще не знал, что с ним случится. Была суббота, 16 июня. Он проснулся рано, как всегда, но сегодня его подстегивало еще сознание одной неотложной задачи; он сразу же сел за письменный стол и раскрыл адресную книгу.

Дело в том, что нынешней ночью, между двумя снами, ему пришла в голову мысль: нужно написать Блоху. Он должен объяснить ему свою драматическую встречу с Молландрю, не утаив ни единой подробности, не скрывая отчаяния, казнившего его в течение последних недель. Блох должен понять и простить, а он смоеет с себя этот позор и перестанет мучить себя из-за тех отвратительных слов.

Он достал конверт и написал от руки адрес:

«Господину Жаку Блоху,
аптекарю,
7, Театральный проспект
1005, Лозанна».

Затем он начал писать: «Дорогой Блох...» Нет, так не годится. Какой там «дорогой» – после столь тяжкого оскорбления?! Да Блох разорвет письмо, едва распечатав! Или нет? Блох ведь добр, Блох все понимает. Нужно довериться Блоху. Это все-таки старый товарищ по коллежу, он не может отвергнуть объяснения, особенно такие убедительные.

Оставив начало как есть, Жан Кальме продолжил: «Ты, конечно, удивился позавчера вечером, на мосту Бессьер...» Он снова отложил перо. «Удивился...» Нечего сказать! Вот уже четыре тысячи лет, как Блохов «удивляют» подобным образом. Родные Блоха в Польше кончили жизнь в печах. Его дед в Париже был вынужден носить желтую звезду на груди. «Удивился!» Он, Жан Кальме, просто-напросто еще раз сжег Блоха вместе с чадами и домочадцами, замучил, сослал, уничтожил весь его род. Рассказать ему о Молландрю? А при чем тут Молландрю? Во всем виноват он сам, Жан Кальме. Это он не смог воспротивиться приглашению Молландрю и провел у него несколько бредовых часов. Это его преследовал с тех пор по ночам взгляд Гитлера с той фотографии. Это ему вздумалось отомстить за собственное унижение, оскорбив первого встреченного им человека, когда он спасался бегством от Терезы. Это он, ничтожество эдакое, вздумал съесть живьем еврея только потому, что был разъярен собственным бессилием. Освенцим-людоед, подумал Жан Кальме. Менгеле-людоед. Молландрю-вампир-людоед. Жан Кальме-людоед. Нашел кому мстить! Какая низость!

Он взял перо и через силу продолжил: «... на мосту Бессьер, когда я назвал тебя...»

Нет, не могу. Рука не поднимается написать эту мерзость. Нужно изложить совсем коротко. Ни о чем не напоминая. Достаточно, если это будет одно слово, крик души. Блох сможет прочесть между строк все, что его мучит. Он увидит, как я несчастлив. Я ведь метил не в тебя, Жак Блох, а в себя самого. Нет, лучше напишу ему попозже, днем. Он разорвал листок и положил конверт на видное место. Он даже наклеил на него марку, еще не зная, что письмо не будет написано, что конверт с новенькой маркой, равно как заметки к уроку латыни и последние циркуляры для преподавателей классических языков, будет приобщен к его «делу» и попадет в руки мирового судьи.

Днем, когда Жан Кальме бывал обычно свободен, он вышел в город и отправился бриться к месье Лехти. И вновь он долго сидел в кресле, с удовольствием ощущая касание помазка, намазывающего ему лицо, и ход лезвия бритвы, с его легким поскрипыванием.

Он так и не написал Блоху.

Он долго бродил по улочкам близ площади Палюд.

Проходя по улице Лув, он спросил себя, не зайти ли к Пернетте, но тотчас отказался от этого намерения: по субботам она наверняка принимала множество клиентов – итальянцев, испанцев, – и он будет лишним. Итак, он пошел дальше, но несколько часов спустя все-таки пожалел о жирном лоснящемся теле и пунцовых губах с запахом гренадина. В киоске на Центральной площади он купил карманное издание «Сатирикона», однако, пройдя сто метров, швырнул книжку в сточную канаву. Он вспомнил, что не имеет права осквернять собою латынь. И у него не было никакого желания убеждать себя в обратном.

Он вернулся домой.

Долгие блуждания по улицам изнурили его. Он дрожал, несмотря на жару. И тотчас уснул.

Этой ночью он не видел никаких снов (по крайней мере, так ему показалось) и встал полностью отдохнувшим.

На следующий день, в воскресенье, 17 июня, Жан Кальме проснулся и начал мастурбировать; достигнув своего жалкого удовольствия, он вспомнил о шуточках товарищей по роте: «Это будет полегче, чем отодрать хорошую бабу. Не нужно тратить силы и напрягаться». Смешки. Но сами-то они имели женщин. Отвращение. Липкие пальцы. Жан Кальме сходил в ванную и мельком глянул на себя в зеркало. Потом вновь улегся в постель.

И тотчас заснул.

Когда он открыл глаза, звонили колокола собора, и ему представились группы верующих на паперти, пастор в черной сутане, выходящий из ризницы и медленно поднимающийся на кафедру, холодный, заполненный гулками песнопениями неф. Он провел весь день в праздности. Написать ли Блоху? Ладно, завтра. Не стал он писать и Терезе, хотя раньше подумывал и об этом. «С ней все кончено. Так зачем же объяснять то, что я не смог высказать, когда любил ее?!» Потом он стал мечтать о том, как случайно встретит ее по дороге в гимназию. Поздоровается ли она с ним? Ну конечно, поздоровается и подойдет к нему, и будут деревья, пронизанные солнечным светом, и ветер, и синий небосвод над крышами, и терраса, где можно присесть и выпить пива. Они останутся друзьями. Лето будет тянуться долго-долго. А когда придет осень и вновь начнутся занятия, он взглянет на мир новым, ясным взором.

В день смерти, а именно, в понедельник, 18 июня, Жан Кальме не встал с постели. Разумеется, он не мог знать, что наступил последний день его жизни. И однако, в то утро ему были явлены знаки, которые человек более проницательный и менее слабовольный не преминул бы истолковать и принять во внимание.

Так, например, он не позвонил в гимназию; в обычное время подобная небрежность выглядела бы тягчайшим проступком для столь аккуратного, педантичного человека.

Половина седьмого. Он лежал ничком на кровати, чувствуя себя измученным, неотдохнувшим, и вяло размышлял над тем, что будет делать утром. Пожалуй, ничего, ровно ничего. Звонить ли в гимназию? Нет, невозможно, просто нету сил. Мерзкий вкус слюны во рту. Туман изнеможения, как после целой ночи ходьбы.

Видал ли он сны? Он никак не мог вспомнить. Во всяком случае, кошмаров не было. Не было и лихорадки. Так, что-то белое, неясное. . .

Он сжал пенис правой рукой, думая одновременно о товарищах по роте. Значит, «не нужно напрягаться»? Не нужно.

На сей раз ему даже не было стыдно.

Бумажный платок с запахом ментола.

Полудрема.

Прошло какое-то время; Жан Кальме встал, но одеваться ему не хотелось. Он так и остался в пижаме – серой, в голубую полоску, нейлоновой пижаме, которую мать подарила ему на Рождество. Он бродил в этой пижаме, босиком, из комнаты в комнату, глядя на книги и бумаги пустым взглядом, в котором ничего не отражалось.

Потом он раздвинул шторы, и квартиру затопил изумрудный свет парка Ровереа. Было половина восьмого. Люди уже торопились на работу. А Жан Кальме был по-прежнему чрезвычайно спокоен. Никаких признаков волнения. Он долго стоял у окна, созерцая шелестящую листву и возню птиц в зарослях орешника у ворот, в конце посыпанной гравием дорожки. Затем присел к письменному столу и стал бездумно перебирать карандаши и ручки.

Было восемь часов, когда он пошел в ванную и открыл футляр с бритвой.

Блеснуло стальное лезвие. Он вынул его из станка и убрал бритву в голубую коробочку.

Взял лезвие и, вернувшись в спальню, лег на кровать.

С минуту он глядел на лезвие, которое держал, отставив руку, против света, – темный четырехугольный силуэт с блестящими краями. Потом начал действовать – удивительно быстро для человека, который уже много дней никуда не спешил.

Твердо сжав лезвие в пальцах правой руки, он приставил его к запястью левой и слегка провел им по сухожилиям и венам, выступающим в двух сантиметрах от кисти. Лезвие было остро наточено. Жан Кальме почувствовал, как оно рассекло кожу, и, невольно вздрогнув, глянул на руку: тонкий разрез быстро заполнялся кровью. Но Жан Кальме не отложил лезвие на ночной столик, как ему ни хотелось этого.

В тот миг и решилась его судьба.

Внезапно он собрался с силами, одним необычайно уверенным движением снова вонзил лезвие в левое запястье и медленно перерезал лучевую артерию вместе с окружающей плотью.

Потом вырвал лезвие из раны, переложил его в левую руку и рассек правое запястье.

Вслед за чем отложил окровавленное лезвие на столик, рядом с лампой и книгами.

К большому его удивлению, кровь не брызнула струей; она медленно сочилась из порезов теплыми густыми каплями, которые щекотали кожу вокруг слегка горевших ран. Он заметил, что ни о чем не думает: вот уже минута, как его внимание было поглощено только заботой о точности жестов. Ему не нравилось, что кровь течет слишком вяло; он свесил руки по обе

стороны кровати и замер, чувствуя, как теплые ручейки сбегают вниз по ладоням, по пальцам, а затем каплями на пол.

Жан Кальме лежал и ждал; теперь его мысли приобрели необыкновенную четкость. Он не ощущал боли. Он словно плыл куда-то, временами зябко вздрагивая, а перед ним возникали, один за другим, образы: смуглое лицо девушки, замеченной в кафе, она что-то вязала, на ее шее блестели затейливые арабские цепочки. Верре, лежащий в прострации на полу учительской. Ежик с остроконечным рыльцем, блестящим в лунном свете. Сад в Лютри, ящерица-медяница, рассеченная надвое косой; обе бронзовые половинки судорожно извивались на солнце. . .

Потом мысли его обратились к запястьям. Кровь почти остановилась и начала свертываться – видимо, из-за сухого теплого воздуха, и Жан Кальме вспомнил, что для кровотечения нужно погрузить руку в воду.

Когда он поднялся, два красных ручейка снова ожили, и он обрадовался этому, но тут же с отвращением увидел липкие кровавые лужицы на паркете и спросил себя, кто будет вытирать их. Кому-то ведь придется это сделать, рано или поздно. Он ощутил дурноту и забеспокоился, что не сможет дойти до ванной. Какая-то черная пелена застилала его мозг, точно мигрень; предплечья и ладони горели так, словно их терзали раскаленными щипцами.

Протянув вперед руки, он добрался до ванны и встал перед ней на колени. Кровь пропитала рукава пижамы. Жан Кальме засучил их и пустил горячую воду. Капли крови падали на дно ванны, расплываясь на белой эмали багровыми звездами. Вода шумела адски; Жан Кальме слегка прикрутил кран и опустил руки в воду. Теперь кровь хлестала вовсю. Вся ванна была забрызгана ею. Ему пришлось сделать нечеловеческое усилие, чтобы удержаться на коленях, сохраняя нужную позу, а кран все шумел, и этот шум сверлил ему череп, как и другие звуки, такие же невыносимо громкие – буря на озере, в Лютри, грозовые раскаты, колокольный звон в старом городе, плеск фонтана на площади Большого Совета, где по вечерам купаются голуби, скрежет стульев по полу, смех, усыпляющий сердце и память куда надежнее, чем дневная усталость. Вот и он задремывал, и он тоже. Он смутно сознавал, что голова его клонится все ниже и ниже, к белой эмали, забрызганной красным, и тщетно пытался поднять ее, но это ему не удавалось, и он падал вперед, а опущенные в ванну руки тянули его вниз, как пудовые гири. Он уже не слышал плеска воды вокруг своих запястий. Не чувствовал, как уходит из него кровь. Он сомкнул веки, ему хотелось спать. Сейчас он уснет. Тише. . . Спать. . .

Он уже совсем было потерял сознание, как вдруг очнулся, открыл глаза, взглянул вниз: кровь – его кровь – кружилась багровыми водоворотами, завихрениями, арабесками, которые сталкивались, сливались и расходились в воде, точно неведомые созвездия. «Звезда! Желтая звезда! – пронеслось у него в голове. – Опять она!» И он спросил себя, простит ли ему когда-нибудь Блох мерзкие слова, сказанные на мосту Бессьер. Потом он услышал голоса сестер. Он играл в глубине сада. Они звали его полдничать. Он с невероятным трудом взбирался по склону, пересекал сад, по пути прислоняясь к деревьям, чтобы отдохнуть, и, стоя с закрытыми глазами, слышал шелест листвы над головой. Яблони. Да, это были яблони, и синицы Симона распевали на их ветвях.

Жан Кальме тяжело опустился на пол, его руки повисли на краю ванны, и кровь брызнула из ран во все стороны. В ужасе Жан Кальме попытался встать, выбраться из этого пугающе гулко закутка, позвать на помощь – скорее! скорее! Но все его попытки были тщетны, он снова рухнул на пол. Слезы покатились по его щекам, соленые слезы, они жгли ему глаза, он всхлипывал, он рыдал, как отчаявшийся ребенок. Господи, хоть бы закрыть воду! Но руки уже не слушались. Голова его свесилась на грудь, слезы смешались с кровью, судорожные рыдания отдавались жестокой болью в горле. Он увидел компанию молодежи; веселые, красивые, они

сидели в кафе «Епархия» и улыбались ему, затем он очутился в классе с пожелтевшими стенами и еще успел вспомнить Изабель, которая худела на глазах. Потом все смешалось, и он рухнул в темноту.

Так умер Жан Кальме.

На все это у него ушло двадцать пять минут.

А в Ситэ в это время начинался экзамен на степень бакалавра. Жана Кальме спешно подменили одним из деканов, тот раздал темы сочинений и теперь наблюдал за учениками в аудитории номер 17 из-за пюпитра, перемазанного несмываемыми чернильными пятнами. Марк, сидевший в предпоследнем ряду, мысленно проклинал Тацита, которого Жан Кальме не без колебаний выбрал для этого экзамена.

В сотне метров от класса Тереза как раз просыпалась в своей комнатке. Она никуда не торопилась. Утренний свет едва просачивался сквозь ставни. Утренний июньский свет. Скомканное покрывало, брошенное на ковер, блестело, как слиток золота.

А госпожа Кальме в Лютри давно уже встала. Она выпила чаю с кусочком хлеба, прибрала в доме, потом оделась и причесалась. И теперь неподвижно сидела в своем кресле, глядя в лучезарное окно.

КОРОТКО ОБ АВТОРЕ

Франкоязычный швейцарский писатель Жак Шессе родился в 1934 году в кантоне Во в протестантской семье с крестьянскими корнями. Его отец получил хорошее образование и преподавал в гимназии.

Жак Шессе окончил коллеж в Лозанне и в 1952 году сдал экзамены на степень бакалавра. Затем учился на филологическом факультете Лозаннского университета, выпустил в студенческие годы первый сборник стихов в престижном французском издательстве Мермо. В 1960 году стал дипломированным лингвистом и искусствоведом, и в это же время в швейцарских журналах появляются его первые прозаические публикации, в основном посвященные истории кантона Во. В 1961 году начинает преподавать в коллеже Бетюзи в Лозанне.

Постепенно проза занимает основное место в творчестве Шессе. Он пишет рассказы и повести, и в 1962 году в издательстве «Галлимар» выходит его книга «Открытая голова», весьма благожелательно встреченная критикой. За эту книгу Жак Шессе был удостоен высшей литературной награды Швейцарии – премии Шиллера, что сразу поставило его в ряд ведущих швейцарских писателей. В дальнейшем книги Шессе следуют одна за другой.

В 1967 году в издательстве «Кристиан Бургуа» публикуется повесть «Исповедь пастора Бюрга» – рассказ о пасторе, ставшем любовником юной прихожанки и погубившем свою любимую. Против этой книги резко выступила церковь, разразившийся скандал вызвал дискуссию в швейцарской прессе и способствовал росту популярности книг Шессе.

В 1969 году он публикует роман «Портрет Вальденсов», который был переведен на английский и немецкий языки, имел большой успех в европейских странах и США. После «Портрета Вальденсов» критика стала сравнивать Шессе с Мопассаном.

В 1971 году в издательстве «Грассе» вышел автобиографический роман «Карабас». В этом же издательстве выходят все последующие книги Шессе. Помимо романов («Людоед», «Кальвинист», «Иона», «Смерть праведника» и др.), Шессе издает поэтические сборники, а в 1991 году выпускает эссе о Флобере. Последняя его книга – сборник новелл «Двойник Святого» (2000).

Вышедший в 1973 году роман «Людоед» удостоен Гонкуровской премии.